



Наум Фогель

Капитан флагамана

Фогель Н. Д.

Капитан флагмана / Н. Д. Фогель —

Действие романа Наума Фогеля «Капитан флагмана» разворачивается на крупном современном судостроительном заводе. Автор хорошо знает своих героев – рабочих, техников, инженеров. Описывая их отношения в процессе труда, автор поднимает серьезные нравственные проблемы. Глубоко и тонко пишет Н.Фогель о современной семье, о трудностях и радостях семейного быта. Трудовая деятельность советских людей и их личная жизнь изображены писателем в их реально существующем единстве.

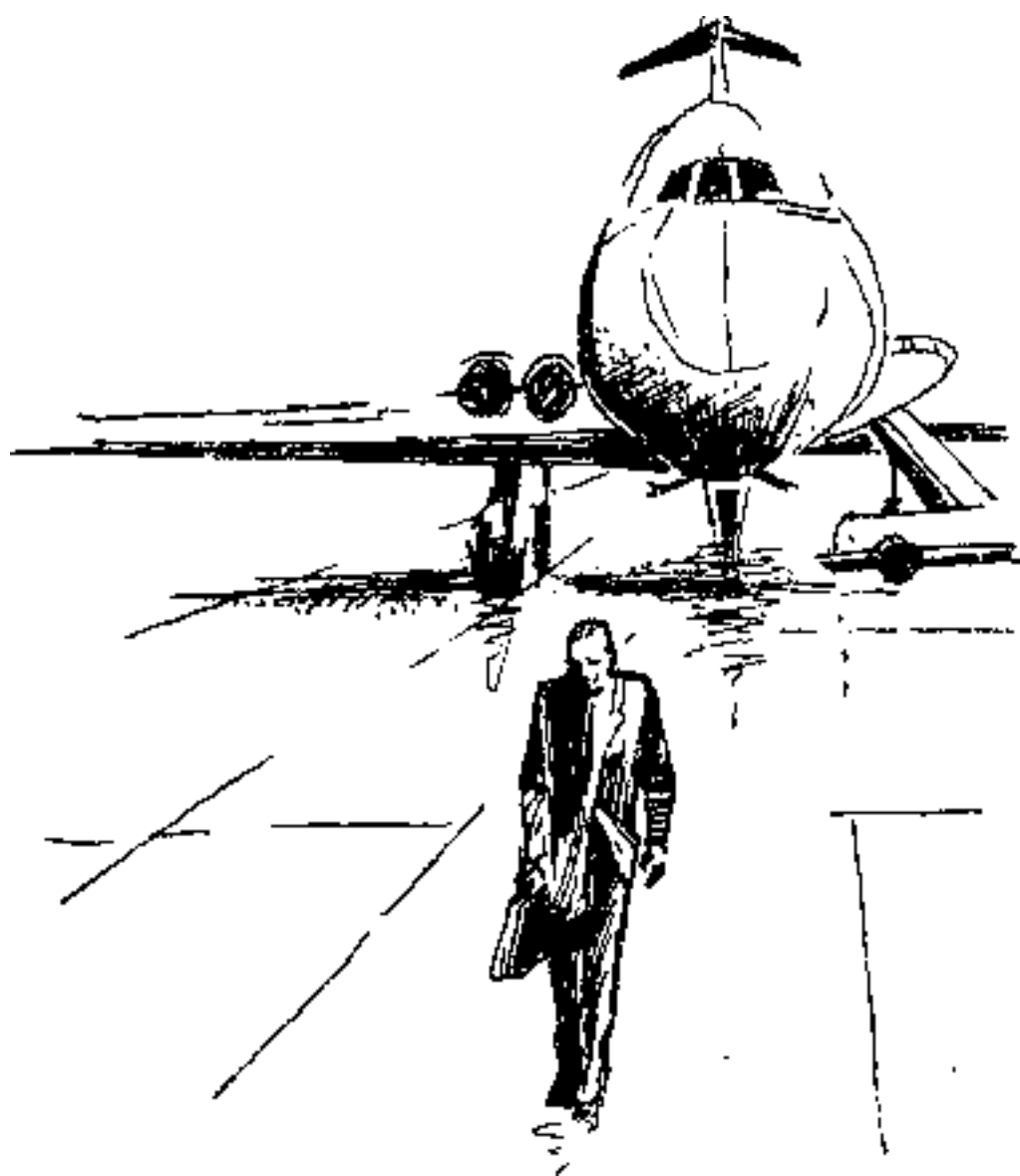
Содержание

1	8
2	13
3	18
4	22
5	27
6	32
7	37
8	43
9	46
10	50
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Наум Давидович Фогель Капитан флагмана







1

Самолет стал крениться на правое крыло. Знакомый вираж перед посадкой. Бунчужный смотрел в иллюминатор. Город лежал внизу, ярко освещенный утренним солнцем. Отсюда, с высоты, хорошо видно, как он привольно раскинулся на крутом берегу большой реки, видны его площади и улицы – в центре прямые, как стрелы, у побережья слегка изогнутые, на окраинах узкие, извилистые. И дома. Старые, крытые железом или давно вышедшей из моды черепицей. В районе Зареченской слободы – почти все под шифером, с небольшими зелеными дворишками и верандами, увитыми виноградом. И новые – из белого силикатного кирпича. Эти стоят массивными четырехугольниками и многоугольниками. Они так и называются – жилмассивы. Кое-где десяти- и шестнадцатизэтажные строения вздымаются и в старом городе. Рядом со своими соседями они кажутся великанами, случайно вставшими в одну шеренгу с карликами.

Самолет разворачивается над рекой. Она была хороша в этот утренний час – широкая, темно-синяя. Здесь начиналась ее дельта. На юг и запад, сколько глазом окинешь, до самого горизонта, подернутого сизой дымкой, вода и зелень, зелень и вода. Десятки речушек, ериков и озер, островов, совсем крохотных и таких огромных, как тот, что под самолетом сейчас, Крамольный.

На нем раскинулось несколько верфей и заводов, в том числе и его, Бунчужного, самый крупный – ордена Ленина судостроительный. Теперь – дважды ордена Ленина. В Комсомольске-на-Амуре – тоже дважды ордена Ленина, но тот еще до войны построен, а этому – семнадцать стукнуло. Мальчишка. Дважды орденоносный мальчишка.

Вручение второго ордена было намечено на вторник. «Хорошо, если б и на этот раз министр прилетел, – думал Бунчужный. – Он, когда орден вручает, становится чуточку сентиментальным, и тут, если не растеряться... Надо будет послать Константина Иннокентьевича в Отрадное. Пусть все подготовит. Наш министр любит раньше своими глазами посмотреть, а уж потом деньги давать. Очень кстати нам был бы сейчас пятиэтажный корпус для дома отдыха. Бетонная дамба. За ней – полоса деревьев. А за ними уже – это пятиэтажное здание».

Отсюда, с высоты, хорошо виден стапель, упирающийся в железные ворота док-камеры, огромные цеха, административный корпус, многоэтажные дома поселка корабелов, расположенного рядом с заводом...

Бунчужный присмотрелся. Двести шестой на стапеле еще... А его нужно было сбросить на воду еще три дня назад. Сухогруз для Кувейта передвинут на новую позицию, надстройки закончены. Хоть за это спасибо тебе, Лорд. А за то, что двести шестой задержал... Экая досада: была задумка сбросить на воду в этом месяце не две, а три «коробочки». Очень важно не просто выполнить, а перевыполнить план. Именно сейчас.

Взгляд Бунчужного упал на крытый эллинг соседнего завода, что стоял на западной окраине Крамольного, у просторного затона. Рядом с эллингом красовался выведенный для спуска на воду ледокольный сухогруз.

«Вытолкал все же Романов свое детище из эллинга. С опозданием на два месяца, но вытолкал. Если б вовремя спихнул, может быть, не пришлось бы сейчас... Вот у кого не хотелось бы принимать завод!»

Правое крыло самолета еще больше ушло вниз. Под ним теперь убежал густо поросший осоками, развесистыми ивами да непролазным тальником левый берег Вербовой. На фарватере виднелась вся облитая солнцем белоснежная «Ракета». Отсюда она казалась почти неподвижной, только белый бурун за кормой... На рейде у элеватора дремлют два иностранца: один свежеекрашенный, нарядно-белый, другой – похожий на огромный уют с рыжими подтеками на боках, истосковавшийся по ремонту.

Самолет шел над городом, выравниваясь и продолжая снижаться. Справа – центральная улица, проспект Победы. Эта улица пролегла широкой лентой от вокзала до реки, разрезая город на две части. А вот и девятая больница, терапевтический корпус... Тут, в небольшой палате рядом с ординаторской, вот уже третий месяц мается жена. С Галиной удалось поговорить только около полуночи. Узнав, что отец на рассвете вылетает, она обрадовалась. И в этой радости ему почудилась тревога. Он хотел спросить, не успокаивает ли она его, но вместо этого спросил, все ли в порядке у нее дома и как себя чувствует Сергей. «Надо было мне Сергею позвонить, – подумал Бунчужный. – Он бы не стал скрывать». Но зятю Тарас Игнатьевич звонить не хотел. С тем, что Галина вышла замуж за этого уже немолодого человека, примирился, а вот неприязни своей к нему преодолеть не мог.

...Аэропорт. На черной полосе асфальта, обрамляющей привокзальный сквер, Бунчужный узнал среди других машин свою вороную «Волгу». И Диму, шофера, тоже узнал. Он стоял и, отгораживаясь ладонью от солнца, глядел в небо.

Самолет пошел на посадку. У выхода из аэровокзала Бунчужного встретил радостно улыбающийся Дима, загорелый, тщательно выбритый. Ворот его рубахи был расстегнут. Мускулистая шея – напоказ. Он поздоровался с Тарасом Игнатьевичем, забрал у него небольшой чемодан. Садясь в машину, Бунчужный посмотрел на часы.

– Домой? – спросил Дима, запустив мотор.

– На завод, – бросил Бунчужный.

Главная улица лежала меж двух стен пирамидальных тополей, вымахавших на добрых двадцать пять – тридцать метров. Только что политый асфальт жирно лоснился. Деревья отражались в нем, как в слегка затуманенном зеркале.

Машина подъезжала к больнице. Дима покосился на Бунчужного, сбавил скорость.

– Не будем, слишком рано, – сказал Тарас Игнатьевич и вдруг увидел Галину. Она тоже заметила отца и побежала к нему. Тарас Игнатьевич вышел из машины, сделал несколько шагов навстречу, обнял. – Как мама?

– Ты же видишь, я была дома. Позавтракала, поболтала с Сергеем и вот иду в больницу.

– А все же?

– К утру ей стало лучше. Утихли боли. Она даже заснула перед рассветом. Как у тебя там? Это короткое «там» каждый раз обозначало что-нибудь другое. Сейчас – министерство.

– «Там» у меня о'кэй. А у вас дома?

– Дома тоже все о'кэй.

Она улыбнулась. Что-то не понравилось Бунчужному в этой улыбке.

– Ты плохо выглядишь, Галина.

– Пустяки. Немного устала, и только. Вчера маму осматривали главный хирург области, профессор из Киева и Остап Филиппович. Они решили, что повторная операция не нужна.

«Опять консилиум, значит, – с тоской подумал Бунчужный. – Профессор из Киева, главный хирург области, Чумаченко Остап Филиппович... киты!» А вслух спросил:

– Что думает Андрей Григорьевич?

Для Тараса Игнатьевича превыше всего было мнение Андрея Григорьевича Багрия – заведующего терапевтическим отделением. Он знал его еще с детства. И жизнью был обязан ему.

– Что думает Андрей Григорьевич? – переспросила Галина. – Я уже говорила: он посоветовал увеличить дозу наркотала. После этого маме сразу же легче стало.

– Это было еще до моего отъезда. Ладно, я к нему загляну. – И, как бы оправдываясь за это «я к нему загляну», добавил шутливо: – От тебя ведь все равно правды не узнаешь. У мамы буду в четыре.

Бунчужный забрался на свое место, оглянулся вслед Галине и громче обычного хлопнул дверцей.

Дима вел машину ровно, спокойно: знал, что Тарас Игнатьевич терпеть не может суетливой езды по городу. Линия тополей внезапно оборвалась, открылась центральная площадь. Площадь Героев. На заднем плане – высокое здание обкома, массивное и в то же время легкое. Глядя на него, Бунчужный всегда думал, что архитектор, безусловно, решил соединить в этом здании воедино незыблемость и простоту. В центре площади – могила Неизвестного солдата. На беломраморном, слегка наклоненном постаменте – большая звезда. Из отверстия посередине в потускневшей позолоте граней бьется, чуть вздрагивая, голубизна Вечного огня. К постаменту от линии тротуара ведет вымощенная плитами красного полированного мрамора дорожка. По краям площади обелиски, тоже красного мрамора. На них имена земляков – участников Отечественной войны, Героев Советского Союза. Цветники на площади лежат где узкими, где широкими прямоугольниками, напоминая ковры. Их много – этих ковров. Сейчас, после полива, цветные узоры на них искрились, словно вышитые самоцветами по малахитовому бархату. Промелькнули универмаг, кинотеатр, высотное здание гостиницы, почтамт... Широкие массивные двери его были по просьбе секретаря обкома сделаны на судостроительном, как и облицовка из плиток нержавеющей стали на колоннах городской библиотеки.

Машина, чуть замедлив ход, свернула на Степную. Вот и дом, где живет доктор Багрий. Может, заглянуть?... Не стоит, он сейчас собирается в больницу, торопится. Нет хуже разговора наспех.

Дима чуть притормозил, потом снова прибавил газу. Тарас Игнатьевич покосился на него. «Почему он пошел в шоферы? Такой мастер...»

– Чего это ты решил за баранку взяться? Слесарь высшего разряда и вдруг – за баранку?

– Наследственность, – не поворачивая головы, ответил Дима. – Дед в ломовых извозчиках всю жизнь проходил. Батя в Гужтрансе маялся на биндуге в две лошадиные силы. А мне «Волга» досталась. Да еще директорская. Генетика!

– Увиливаешь?

– На легкие хлеба потянуло, захотелось чистенькой работы. Чтоб при галстучке. И еще захотелось к вам присмотреться. Присмотрюсь и, гляди, в директора выбьюсь. Славы захотелось. Славы и почета.

– Смотри, чтоб не плакать потом. Слава, она, брат, на крепкую голову рассчитана.

– Так я же присматриваюсь только.

– Присматривайся, присматривайся. Чем черт не шутит. Может, в министры выберешься.

– В министры – это потом, а пока вполне устраивает и директором судостроительного. Хотя бы такого, как наш. Заводик первоклассный. Что надо заводик! Дважды орденосный! Немного подиректорствую, а потом уже – в министры.

– Давай, давай. Я тогда к тебе водителем пойду. Лады?

– Лады. Вот шуму-то будет! Димка, скажут, вон как вымахал. Бунчужный у него шофером. Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда у Димки – шофером!

Машина вышла на Стапельную площадь. Линию тротуара тут резко отграничивала от мостовой белая кайма бордюра.

– Бордюрик, пока вас не было, Ширинкин вон как отделал, – усмехнулся Дима.

Стапельная площадь нелегко далась Бунчужному. Пришлось убрать больше двух десятков старых домов, освободившееся место выровнять, покрыть асфальтом. В центре – огромная клумба. Она, как и цветники на площади Героев, была похожа на вытканый разноцветными узорами ковер и тоже искрилась. Прежде трамваи, автобусы и грузовики вечно скапливались тут перед мостом через Бинду. Особенно в часы «пик». А сейчас...

Ровным потоком вливался сюда транспорт из пяти улиц. Огибая клумбу, машины устремлялись к бетонному мосту. Мост назывался Кузнечным. Когда-то здесь было множество кузниц – и у причалов, и неподалеку на склоне, и выше, на кривых улочках, где ютился рабочий и торговый люд. В старину здесь было царство извозчиков. Тут ковали лошадей, обивали желе-

зом тяжелые грузовые повозки, так называемые биндюги, арбы и шарабаны, натягивали железные шины на колеса, ремонтировали баркасы и шаланды. В память об этих кузнях и назвали мост Кузнечным. Прежде он был деревянный. После того как «отгрохали» площадь, поставили этот – железобетонный. Перила его напоминают чугунную вязь оград ленинградских парков.

Не уместаясь на тротуарах, захватывая порой проезжую часть, к заводу валил народ – с ближайших улиц и отдаленных. Даже из центра. Эти тоже нередко предпочитали идти пешком. С транспортом в городе, сколько помнит Бунчужный, всегда было трудно. Людской поток с моста выплескивался на широкую Корабельную улицу, что на Крамольном острове уже. Машина вышла сюда, потом свернула в глухой Вымпельный переулочек, ведущий к центральной проходной. И тут бордюр тротуара был выкрашен в белый цвет. «Ширин, как всегда, перестарался, – думал Бунчужный. – Бордюр можно бы и не красить».

– Долго нам еще с чистой шеей ходить? – спросил Дима с насмешкой в голосе.

Тарас Игнатьевич хотел было сказать, что гостей положено встречать в прибранном помещении, около дома подмести и шею вымыть... Но вместо этого покосился на белый бордюр, на котором чья-то варварская рука вывела углем короткие и выразительные в своем неприличии слова.

– А шея-то уже подзагрязнилась, – бросил он сердито и добавил: – Сукины дети, даже буквы писать как следует не научились.

– Прикажите Ширинкину. Он в два счета перекрасит заново. Только надо не в белый, а в черный, чтоб художества углем не так в глаза бросались.

– Мелом напишут. Изловить бы одного да всыпать хорошенько, чтоб другим неповадно было.

– А вы тому же товарищу Ширинкину скажите, чтоб распорядился патруль из военизированной охраны выставить. Пока гости будут.

– Ты его Ширинкиным окрестил? – недовольно спросил Бунчужный.

– Я.

– Обидная кличка.

– Ширин К.Ин. Вместе – Ширинкин. Вольно же было его батьке, зная свое имя и фамилию, сына Костей называть. За отцовские грехи расплачивается наш Константин Иннокентьевич.

– А ты злой, оказывается.

– Я не злой. Я веселый. Американцы говорят, деловые люди обязательно должны быть с юмором. Вот я и тренируюсь.

– Да помолчал бы ты, веселый человек.

– Могу и помолчать.

Машина свернула к воротам. Они были открыты, но перехвачены поперек тяжелой цепью. Охранник увидел директорскую машину, торопливо отстегнул цепь, опустил ее на землю и приподнял фуражку. Тарас Игнатьевич кивнул ему.

«Волга» подкатила к административному корпусу. По тротуару, направляясь к стапельному цеху, шли двое: крепкий, широкоплечий, пожилой уже бригадир судосборщиков Василий Скиба и худощавый, невысокого роста Назар Каретников – электросварщик. Тарас Игнатьевич окликнул Скибу. Тот остановился. Каретников тоже остановился.

Скибу Тарас Игнатьевич знал давно. И Каретникова знал: один из лучших электросварщиков на стапеле. Корифей своего дела. Одна беда – выпить любит. В понедельник за ответственные швы не брался: дорожил авторитетом.

Бунчужный ответил на приветствие Каретникова и, внимательно присмотревшись к нему, нахмурился.

– Опять? Сколько раз предупреждали!

– Вчера ко мне кум с кумой наведывались. Всего на один день приехали. Пришлось уважить. А только я...

– Как на стапеле, Василий Платонович? – спросил Бунчужный, не дослушав Каретникова.

– Надо бы начало работы передвинуть, Тарас Игнатьевич. Солнце хулиганит.

Бунчужный заметил, что график начала работы на стапеле обычно передвигают позже.

– Так оно ведь год на год не выходит. Ныне солнце просто сказилось.

– Ладно, распоряжусь. А его, – указал на Каретникова, – к работе не допускать. И вообще – в отдел кадров. Надоело!

– Так его только вчера в мою бригаду определили, – возразил Скиба, и в голосе его послышалась обида. – Сами знаете, как с людьми у нас.

– Все, Василий Платонович.

Он попрощался со Скибой и направился к себе. Глядя на его энергичную походку, никто не подумал бы, что этой ночью он так и не прилег. Только подремал немного в кресле во время полета.

2

Скиба посмотрел вслед Бунчужному, потом на смущенного Каретникова, выругался и зашагал к стапелю. Бригада уже была в сборе.

– Гриць, – обратился бригадир к молодому судосборщику Григорию Таранцу. – На сварку станешь заместо этого черта, – кивнул он в сторону Каретникова. – Рационализатор, так его перетак. Вместо углекислого газа решил на сивушном перегаре варить. Вот и турнул его Бунчужный за такое творчество с завода.

Бригаду эта шутка не развеселила. Вчера, когда узнали, что Назара Каретникова перебрасывают к ним, обрадовались. А тут – на тебе!..

Больше всех расстроился из-за этой истории Гриша Таранец. Братся сейчас за ответственную сварку для него было более чем рискованно. Накануне вечером он тоже перебрал в компании молодых писателей и поэтов из Чечено-Ингушетии. Они вместе выступали во Дворце кораблестроителей, а когда гости пошли ужинать, потянули за собой и Григория.

– Пойдем с нами, рабочий класс! – обнял его за плечи руководитель делегации. – Пойдем выпьем за здоровье твоей замечательной девушки. Если эта светловолосая девушка спустилась к нам из твоего красивого стихотворения, ее зовут Таней, верно я говорю? И я не напрасно отбил себе руки, когда аплодировал тебе, кланюсь.

Таня, тонкая русоволосая студентка литфака, стала отказываться – у нее завтра коллоквиум, надо подготовиться. Гриша тоже колебался. Но гости так сердечно и весело уговаривали, что не согласиться было нельзя.

Вот на этой-то вечеринке Григорий и перебрал – очень уж замысловатые и веселые тосты провозглашали гости, стараясь за один вечер выложить своим украинским друзьям всю застольную мудрость Кавказа. Потом его попросили читать свои стихи. Хмель помешал ему выбрать лучшее, он прочитал первое, что пришло в голову. Ему хлопали. Однако он чувствовал, что аплодируют из вежливости. Потому и предложил выпить за самое лучшее стихотворение, которое не написано еще. Тост понравился. Ему снова налили полный бокал, он лихо осушил его. Это понравилось гостям куда больше, чем его стихотворение.

Самое неприятное во всей этой истории было то, что рядом сидела Таня... Если бы ее не было... Но она была. И смотрела на него с укором. Потом они шли домой через парк. Хулиганы... Драка... Безнадежно испорчен единственный костюм. Впрочем, дьявол с ним, с костюмом...

Утром Таранец пришел на завод не выспавшись, с головной болью. Прогудел гудок. Григорий тут же вставил электрод и зажег дугу. Но уже с первых минут понял, что сегодня шов получается не из тех, которыми хвастаются сварщики-мастаки, или, как их здесь называют, корифеи. Здравый смысл подсказывал, что надо бросить эту работу, сказать бригадиру, что сегодня из него, Григория Таранца, сварщик как из верблюжьего хвоста курдюк. Но он упрямо продолжал варить, надеясь, что в руке все же появится твердость.

– Давай на прихватку переходи, – услышал он позади себя недовольный, даже злой голос бригадира.

Григорий погасил дугу. Подавали крупную секцию палубной надстройки. На кране работала девушка, с которой Таранец познакомился, когда еще только пришел на завод впервые. Этот первый день врезался в память на всю жизнь.

...В отделе кадров рыхлый и, казалось, плохо выспавшийся и потому хмурый человек мельком взглянул на записку со штампом редакции областной газеты, подписал бумагу и, не подымая головы, буркнул:

– Третий цех.

«Почему в третий? Почему не в пятый, двадцать седьмой или пятьдесят девятый?» Гриша уже знал, что на заводе шестьдесят пять цехов. И вот его, по воле этого плохо выбритого, пасмурного субъекта, определяют в третий. Цифра ничего не говорила Григорию, как и фамилия человека, к которому он должен обратиться в этом цехе. И кем он будет работать, Гриша тоже не знал. В бумажке стояло – разнорабочий. И в скобках – ученик-такелажник. Спросил у молодого парня, стоящего неподалеку от ворот. Тот охотно пояснил:

– Разнорабочий – это вроде моряка на суше. Кепка козырьком назад. Вместо тельняшки – брезентовая роба. А насчет работы, то здесь как в океане: нынче тут, завтра там. Отнеси, принеси, подай, прими. Здесь, парень, самое главное, чтоб никакой тебе квалификации. Когда-то их чернорабочими называли. А только ты не грусти: многие тут с этого начинали, а теперь – начальники цехов. Считаю, на первую ступеньку поднимаешься.

– Даже самая высокая лестница начинается с первой ступеньки, – сказал Таранец, которому развязный парень пришелся по душе.

Он шагнул в проходную, вежливо поздоровался с вахтером и спросил, как пройти в третий цех. Охранник посмотрел бумажку и махнул рукой куда-то не совсем определенно. Григорий зашагал в этом направлении. Решил – по дороге уточнит. Остановил молодого рабочего в брезентовой одежде и в каких-то диковинных башмаках с тускло поблескивающими металлическими носками.

– Сначала вот этот цех обойдешь, потом следующий, с другой стороны. И выйдешь прямо к третьему. Стапель это.

Григорию это слово всегда нравилось. «Стапель»... Было в нем рядом с уважительностью еще и что-то от детского лепета. Такое слово должно хорошо укладываться в строку. Стапель – капель. Много прозрачных и звонких капель...

Хорошо бы – капель... Что-то весеннее... Но только тогда выходит не стапель, а стапель... Нет такого слова – стапель... Сотни тысяч... капель падают на стапель. Почему сотни тысяч?.. Почему не миллион или, скажем, два миллиона... Чепуха какая-то... Чепуха, а звучит.

Он обогнул угол громадного, сложенного из белого силикатного кирпича здания с гигантскими – в три этажа – оконными проемами, в котором гудело и грохотало. Потом еще одно, более тихое. И вдруг... Он его узнал, хотя до этого никогда не видел. Только в журналах или газетах, на картинках. Или на экране телевизора. Неважно, где видел. Важно, что узнал. Остановился, пораженный.

Рядом с пятиэтажным корпусом прямо на земле стоял корабль. Огромный. Почудилось, что это видение из детства, из фантастического мира сказок. Будто попал в чудесную страну лилипутов, которые возятся там, на этой махине, что-то делают, каждый свое. И чудится, что вот сейчас откуда-то появится добряк Гулливер в своем камзоле, оригинальной шляпе и станет помогать этим лилипутам. Корпус корабля покоился на массивных подставках, которые стояли на колесах, тоже очень прочных, похожих на вагонные. Под ними – рельсы. Потом он узнал, что эти подставки на колесах называются тележками и на них океанскую громаду передвигают с позиции на позицию, потом – в док-камеру, это когда приходит время спускать на воду. Эстакада. На ней мостовые краны, которые все время двигались, что-то подымали, опускали, перетаскивали на толстых металлических крючьях. Все вокруг грохотало, бухало, вдруг разражалось короткой, похожей на пулеметную очередь, трескотней. Однако самым впечатляющим был корабль. Такой огромный и тяжелый, что только диву даешься, как он не проседает, не уходит в землю, словно тот сказочный богатырь из древней русской былины. Запомнилось над всем этим голубое, в редких кучевых облаках, небо. И – солнце, ласковое. И в этом невероятно оглушающем солнечном свете то там, то здесь, над корабельным корпусом и сбоку, на его бортах, вспыхивали и гасли огни электросварки.

Григорий остановился ошеломленный, почувствовав себя ничтожно маленьким перед этой громадой. Другие, казалось бы, тут как дома. Одни копошились наверху, совсем крохот-

ные, другие что-то делали здесь, на земле, куда-то шли, третьи стояли и курили, чего-то ожидая, спокойные, безразличные к тому грандиозному и фантастическому, что делалось вокруг.

Из оцепенения вывел пронзительный гудок. Оглянулся. Шарахнулся в сторону: прямо на него двигался паровоз. Пыхтя и отдуваясь, он тащил две платформы, на которых не то лежало, не то стояло какое-то сооружение из толстого металла. Лязгнули буфера. Паровоз коротко вскрикнул и остановился. На платформу взобрались люди в промасленных куртках наголо. Стали возиться с толстым металлическим тросом. «Вот это, наверно, и есть разнорабочие», – подумал Григорий, проникаясь уважением к здоровякам, орудующим на платформе. Он загляделся на них. Потом услышал какие-то нетерпеливые звонки. На него двигалось громко рычащее чудовище на широко растопыренных, забрызганных грязью и потому, казалось, мохнатых лапах. Чудовище отгоняло его, Григория. Оно замедлило ход. Остановилось рядом, закрыв собою почти все небо. И вдруг разразилось руганью, девичьим голосом. Где-то посередине между гигантскими лапами и чуть склоненной до самых облаков верхушкой – остекленная кабина. Из окна, рискуя вывалиться, высунулась курносая девчонка в белой косынке и брезентовой курточке.

– Недоносок желторотый!.. Черт вас тут носит, бездельников!

Страх прошел. И все сразу же стало на свои места. Чудовище оказалось порталным краном. Девушка – крановщицей. Григорий улыбнулся ей и приветливо помахал рукой, как старой знакомой. Но эта курносая, там, наверху, пожелала Григорию, чтоб его «побила лихоманка», и только после этого двинула свой кран дальше, поравнялась с железнодорожным составом. Толстый крюк повис над металлическим сооружением. Стал опускаться, раскачиваясь. Один из рабочих поймал его и ловко продел в петли тросов.

– Это что за штука? – спросил Григорий паренька, соскочившего с платформы.

– Конструкция это, – сказал паренек солидным басом. – А ты, видать, новенький? – Григорий кивнул, и паренек снова заинтересовался: – Куда тебя? Ну-ка покажи, – и он бесцеремонно потянул к себе бумажку, которую Григорий все еще держал в руке. – Так это к нам тебя.

Григорий отобрал бумажку. Огляделся. Бросалось в глаза, что здесь, на стапеле, почти все на колесах – и корабельный корпус, и платформы, и этот огромный кран. Потом его внимание снова привлекла «конструкция», которую разгружали сейчас. По привычке попытался тут же зарифмовать это слово. «Конструкция-обструкция... Чепуха. Конструкция-инструкция... Лучше. Подали конструкцию точно по инструкции... Белиберда, сапоги всмятку».

Подъемом этой плохо рифмующейся конструкции руководил стоящий на краю палубы здоровяк – широкоплечий, в брезентовых брюках и такой же куртке, наброшенной на голые плечи. Из-под куртки выпирала загорелая до черноты волосатая грудь. На голове – защитный шлем. Здоровяк стоял на крепких, широко расставленных ногах и жестом отдавал распоряжение сердитой крановщице.

Конструкция двигалась, чуть покачиваясь. Сначала потихоньку. Потом быстрее. Шла она одновременно вверх и приближалась к борту корабля.

Второй такелажник соскочил с платформы, остановился рядом, закурил. Он тоже внимательно следил за подъемом.

– Сколько она тянет? – спросил Григорий.

– Кто «она»?

– Эта железяка.

– На кой ляд тебе, – покосился на него такелажник.

– Из газеты я.

Рабочий посмотрел на него недоверчиво.

– Из какой газеты?

– Областной. Внештатный журналист я. Интересуюсь вот этим всем. – Он сделал неопределенный жест.

– Интересуешься, значит? Ладно, интересуйся. Только это не «железяка», а секция. А тянет она сто тонн.

Григорий извлек из кармана блокнот, выдернул из-под его корешка самописку и сделал короткую запись. Потом его вниманием завладел богатырь, тот, наверху. Легкими движениями рук он «брал на себя» эту секцию. Конструкция поднималась все выше и выше. Рычал, надрываясь в натуге, кран. Дрожал от напряжения. Казалось, его изогнутая, чем-то похожая на жирафью шея вот-вот хрустнет, сломится от непомерной тяжести – и стотонная конструкция рухнет, ломая все вокруг: эстакаду, этот крохотный паровозик, платформы... Было странно, что паровозик этот не убегает подальше от нависшей над ним многотонной опасности. Стоит чудак и пыхтит, отдуваясь с облегчением, даже будто радуется, что избавился наконец от такой тяжести. Машинист высунулся из окошка и тоже смотрит, как идет в небо огромная секция.

А кран то гудел, то затихал на короткое время, подчиняясь едва заметному, но выразительному движению руки богатыря, то вдруг снова принимался натужно выть. Толстые тросы при этом вздрагивали, как живые.

– А этот сюда направлен. Такелажником, – услышал Григорий рядом с собой уже знакомый голос паренька. – Может, в нашу бригаду его определяют, а, дядь Федь?

– Из газеты он.

– Так у него направление в наш цех. Разнорабочим.

– Правду он говорит? – сурово спросил старший.

– Правду, – спокойно сказал Таранец, вынул из кармана направление, протянул пожилому.

Тот внимательно посмотрел, поднял глаза и спросил строго:

– Что ж ты голову морочишь?

Григорий сунул руку в брючный карман, вынул газету, протянул такелажнику и произнес, не глядя на него:

– На последней странице. Стихи. Мои. Таранец моя фамилия. Григорий Таранец...

Пренебрежительный тон юноши, пахнувшая свежей краской газета и колонки стихов, обрамляющих фотографию с изображением знакомого кусочка берега Вербовой, видимо, убедили такелажника. Он сравнил фамилию на бумажке с той, что была отпечатана жирным шрифтом над подборкой стихов, убедился в полной идентичности и сунул газету под нос изумленному напарнику. Посмотри, мол.

– Чего же он – к нам?

– Значит, газете так нужно, – пробасил старший, добрея. – Максим Горький, если б его на такой завод послали, рехнулся бы от счастья, а ты...

– Это кто на палубе, там? – поинтересовался Таранец, указывая пальцем на богатыря.

– Скиба это. Василий Платонович. Лучший бригадир судосборщиков на стапеле. А только про него уже писали. И не раз.

Конструкция повисла над палубой и, повинаясь руке бригадира, стала опускаться, пока наконец не села на свое место.

– Зачем же ты к нам идешь? – поинтересовался рабочий, на которого подъем этой махины не производил никакого впечатления.

– Знаете, что такое жизнь, дядь Федь?

– Жизнь – это проще пареной репы, – ответил рабочий, несколько шокированный этим «дядь Федь». – Жизнь – это, браток, борьба. И в песне так поется. Вот смерть – это посложнее и непонятней, а жизнь – проще пареной репы.

– Вот я пришел сюда, чтобы этому делу научиться. Для вас это просто, а для меня – сложнее сложного. Потрусь здесь около вас – глядишь, а для меня все проще пареной репы станет...

– Это где же ты задумал тереться? Среди нас, такелажников?

– Нет, я к вам не пойду. Я к нему пойду: к этому Василию Платоновичу.

– Так бумажка у тебя, браток, не туда, а к нам, такелажникам.

– Бумажка – что? Бумажку и переделать можно.

– Судосборщик, сынок, – перешел уже вовсе на покровительственный тон бригадир, – специальность посложней нашей. Там нужно и в чертежах разбираться, и резак орудовать, электросварку постичь. И силушка нужна, потому иной раз и кувалдой наподдать приходится.

– Справлюсь. Я, дядь Федь, из тех, которые, если захотят...

– Хвастун ты, вот кто, – рассердился на это и впрямь весьма пренебрежительное «дядь Федь» пожилой такелажник и вдруг напустился на своего помощника: – Какого черта глазеешь тут? Давай подбирай тросы. Не слышишь, как машинист орет.

Машинист и в самом деле орал, стараясь перекрыть окружающий гул короткими гудками своего паровичка. Григорий еще раз посмотрел на конструкцию, которая теперь отсюда, снизу, казалась не такой уж большой, встретился взглядом с крановщицей, помахал ей рукой и зашагал обратно в отдел кадров.

Ему удалось получить направление на стапель, учеником судосборщиков. Не к Скибе, правда, но все равно в судосборщики.

Когда он, уже с новым направлением, возвращался к стапелю, из тучи, что нависла над заводом, хлынул дождь. Теплый. Ласковый. Потом тут же выглянуло солнце. Дождевые капли заискрились, заиграли всеми цветами радуги.

– Сотни тысяч капель падают на стапель и на кран порталный, девушке в лицо, – бормотал Григорий, с удовольствием ощущая, как холодит плечи сразу взмокшая рубаха.

«И придет же такое в голову: «И на кран порталный, девушке в лицо». С чего бы ей тарашиться в небо? А если и полюбопытствует, если задерет... Сотни тысяч капель на ее курносую мордочку... Не слишком ли много?» Но первые две строчки нравились. И потому стало радостно. А может быть, настроение стало таким оттого, что в кармане лежало направление в ученики-судосборщики?

– Сотни тысяч капель падают на стапель, – продолжал он декламировать, утешая себя тем, что другие строчки этой неудачной строфы придут немного позже, когда он оглядится здесь. Строчки и впрямь пришли. Только совсем другие. А «сотни тысяч капель», падающих на стапель, так и не увидели света... Таранец и вовсе позабыл о них. В бригаду Скибы ему все же удалось попасть. И скоро.

...Да, вокруг было все так, как и в первый день его работы на заводе. Только настроение было плохое. «Лучше бы он матюганом меня, чем так, молча», – подумал Григорий о Скибе.

С прихваткой у него ладилось, но работал молча, не шутил, как обычно, хмурился. Ко всему еще огромный синяк под правым глазом, который кто-то успел ему присветить вчера ночью в парке, привлекал всеобщее внимание, вызывая шутки, на которые почти все скибовцы были большие мастера.

«Ну и денек, пропади он пропадом, – подумал Таранец. – Даром что суббота. Хотя «черная» ведь эта суббота. Черней и не придумаешь!...»

3

Была «черная» суббота – один из выходных, когда завод, по заранее составленному графику, работал. В такие дни на прием к директору мог прийти кто хотел. Тарас Игнатьевич никому не отказывал и был как-то по-особенному добр. Многие нарочно откладывали свои дела к нему на такую субботу, надеясь, что просьба их будет наверняка уважена. Правда, Бунчужный предпочел бы, чтобы сегодня был четверг. Самый обыкновенный четверг, когда собирается декада и можно пригласить весь «комсостав» – заместителей, начальников отделов и цехов – поделиться новостями, обсудить планы в связи с предстоящим торжеством. Но сегодня была «черная» суббота, и Тарас Игнатьевич решил провести ее как всегда – начать с приема. А жаль, он любил свой «комсостав» – каждого сам растил.

В свое время, подписывая приказ о назначении Бунчужного директором завода, министр сказал:

– Со специалистами там плохо, Тарас Игнатьевич. Но чем сможем, подсобим. – Он вздохнул: – С оборудованием сейчас и то легче, чем со специалистами.

Однако Тарас Игнатьевич решил, что выпрашивать в министерстве специалистов он не будет: хорошо знал, что представляют собой спецы, кочующие с одного производства на другое по разным причинам – то директор сволочь попался, то обещали четырехкомнатную квартиру, а дали двухкомнатную, и та за тридевять земель от завода... Лучше своих выпестовать. И он принялся выискивать среди рабочих, техников и мастеров «специалистов управления». Случалось, и не на ту лошадку ставил, но чаще всего не ошибался. Было у него особое чутье на таких. Он посылал их на другие заводы набираться опыта. И на зарубежные командировки не скупился. «Гнал» учиться – сначала в техникум, а если человек оправдывал надежды – в институт. Однажды министр спросил:

– Ты как итээр комплектуешь, Тарас Игнатьевич? Потихоньку с других заводов переманиваешь, через нашу голову?

– У меня своя академия, – ответил Бунчужный. – Хорошего работника умный директор не отпустит, а бездельники мне и даром не нужны.

– Не переманиваешь, значит? – хитровато прищурился министр. – А Ватажков?

– Исключение. По старой фронтовой дружбе. К слову, толковую мысль он подал: институт нужен. Свой. Вечерний. Очень уж накладно отправлять парней в другой город на пять лет, если можно все премудрости дома постичь. Без отрыва от производства. До войны ведь был институт.

– А что, разумно... Очень разумно! Кстати, как он там, Ватажков?

– Комиссарит. Будто всю жизнь только то и делал, что комиссарил на таком посту. На месте Ватажков.

Да, у Бунчужного была страсть самому растить свой «комсостав», готовить свои руководящие кадры, людей толковых, деловитых. Терпеть не мог заседательской суеты, мастеров парадного трескословия. Такие наобещают с три короба, а как до дела дойдет – в сторонку. «Мы, мол, люди маленькие. С него спрашивайте, с директора. У него власть». Сыпать обещаниями направо и налево они люди не маленькие, а ответ держать... Он распорядился собираться раз в десять дней. Такие совещания назывались декадами. Потом жизнь заставила собираться чаще. Раз в неделю. По четвергам. Но по традиции эти совещания продолжали называть декадами. Они проводились в строго определенные часы, приходить раньше считалось дурным тоном. Опоздания не допускались. Вот и приходили все – минута в минуту. Бунчужный считал, что так и только так должны собираться на деловые совещания деловые люди.

Тараса Игнатьевича больше всего тревожил сейчас лайнер, который торчал у ворот в док-камеру на тележках вместо того, чтобы стоять уже на воде у достроечного пирса. В ответе за это

был его заместитель по производству Лордкипанидзе. Тарас Игнатьевич позвонил секретарю и попросил разыскать Лорда.

В кабинете все осталось так, как было перед его отъездом. За тем, чтобы здесь никто не смел «хозяйничать», ревниво следила его бессменный секретарь – уже пожилая женщина. Она работала тут еще до его прихода.

Кабинет у него был тогда маленький. И приемная была совсем крохотной. А сейчас... Сейчас приемная стала просторной, комфортабельной. И кабинет – большой, «министерский». Паркет из дубовых плиток разных тонов, умело подобранных. Строгая темная панель полированного дерева. И такого же дерева – большой директорский стол со специальной приставкой для телефонов. И второй – узкий, длинный, расположенный слева от двери. За этим столом обычно и проходили декады. Рядом с дверью, на стене – большая карта завода, весь Крамольный остров.

Начертана эта картина была как-то шиворот-навыворот, так, что север получался внизу, а юг сверху. На этой «южной» стороне черной тушью были очерчены причалы, главный затон, док-камера, второй затон... Бунчужный уже привык к такому расположению карты, хотя все на ней шло вразрез с приобретенными еще в школе географическими представлениями. Жилищный массив, захватывающий часть большого озера Хустынки, был выведен контрастной пунктирной линией в многоугольник. Когда рисовалась эта картина, жилмассива не было. Он существовал только в мечтах директора.

Бунчужный повернулся к своему знаменитому ПДП АСУП – персональному директорскому пульта автоматической системы управления производством, который стоял рядом с телефонами. Это была новинка, созданная умельцами цеха электрорадиоавтоматики. ПДП представлял собой вертикальный щит со множеством кнопок. Сверху – экран, похожий на телевизионный. Нажимаешь кнопку, и на экране вспыхивают цифры – количество металла на складе, запасных частей, выполнение плана на любом участке. Даже количество больных. Даже число недостающих специалистов в данную минуту по каждому цеху и отделу с расшифровкой, каких именно.

Тарас Игнатьевич стал нажимать кнопки. На экране вспыхивали и гасли цифры. Бунчужный нахмурился, выключил пульт и ругнулся про себя. Теперь ясно, почему двести шестой не на воде: рабочих рук не хватает.

Людей на заводе постоянно недоставало, особенно судосборщиков, слесарей, электро-сварщиков... А вот инженеров, конструкторов, плановиков и других специалистов с каждым годом становилось все больше и больше. «Со временем и без рабочих обойдемся: все будут делать машины с высшим образованием, – шутил Лордкипанидзе, – а пока еще много у нас работ, не требующих особого мастерства». К счастью, большинство специалистов на заводе начинало с простой работы. В трудную минуту – а такое иногда случалось – они могли стать и за токарный станок, и за фрезерный, возглавить бригаду судосборщиков. Но кое-кому было трудно. Тем, кому, по словам того же Лордкипанидзе, не повезло, кто пошел в институт прямо со школьной скамьи. И потому, если на одних было любо-дорого глядеть, когда они, переодевшись в спецовки, становились за станок или брали в руки простой держак, то на других было до того неловко смотреть, что мастера из деликатности в такую минуту старались не замечать их.

Нехватка рабочих давала себя знать и на других заводах. На кораблестроительном было даже благополучнее. Что только не делалось здесь, чтобы закрепить кадры, и все же... Вот и сейчас не хватает. Особенно электросварщиков. «Может быть, не нужно было с Каретниковым так, – подумал Тарас Игнатьевич. – Нет, нужно!»

Он снял трубку, позвонил Романову. Тот оказался у себя. Тарас Игнатьевич поздоровался, попросил зайти.

– Письмо тут для тебя. От министра. И вообще разговор есть. Не из приятных, но откладывать нельзя... Ладно, жду... – Он положил трубку, нажал кнопку секретарского телефона,

попросил соединить его с терапевтическим отделением в девять тридцать. Потом спросил: – Что у вас?

– Ширин тут. И мать Богуша.

Бунчужный попросил извиниться перед матерью Богуша, сказать, что он примет ее сразу же после Ширина, вне очереди.

Константин Иннокентьевич вошел сразу же. Это был начинающий полнеть человек, в расцвете сил. Поздоровался. Поздравил с награждением завода. Сел. Собрался о чем-то спросить, но Бунчужный оборвал его:

– Надо съездить в Отрадное, подготовить. Возможно, кое-кого из гостей свезем туда. Самолетом. Проверь, как идет ремонт коттеджей. По бульвару пройдишь. Деревья, что зимой пересадили, если не поливать... В общем, сам знаешь. Все!

– Будет сделано, – сказал Ширин и поднялся.

Если Ширин сказал «будет сделано», можно не сомневаться, что будет сделано. Вот за эту исполнительность и поднял его Бунчужный до высокой должности своего заместителя.

Ширин, если нужно, и две недели с завода не выйдет, а своего добьется. Потом доложит. Докладывать о выполнении доставляло ему невыразимую радость, и Бунчужный старался не лишать его этого удовольствия.

– Скажите, чтобы мать Богуша вошла, – бросил ему вслед Бунчужный.

Миша Богуш, инженер-электрик, в благодарность за успешную операцию, которую сделали матери в девятой больнице, взялся установить в операционной хирургического корпуса уникальный рентгеновский аппарат с особой приставкой, которую сам сконструировал. Во время испытания попал под высокое напряжение. Произошла остановка сердца. Хирурги, которые находились тут же, вскрыли грудную клетку и «запустили» сердце. Но сердце молчало шесть минут. Всего на одну минуту больше максимально допустимого срока. Эта минута и решила все. Но мать надеялась, она верила в медицину. Особенно в хирургов. Ведь они вернули ей жизнь. И Мишу воскресили. С тех пор прошло более трех месяцев. Миша не умер. Но и живым его нельзя было назвать. Он ничего не видел, не слышал, не чувствовал, не понимал. Врачи круглосуточно дежурили у его койки и делали все возможное, но сознание не возвращалось. И она пришла к Тарасу Игнатьевичу с просьбой, чтоб он как депутат Верховного Совета помог. Хорошо бы пригласить профессора, из Москвы. Нет, она доверяет нашим врачам, но Москва – это Москва.

Бунчужный знал, что Богушу никто и ничем не поможет. Но матери этого знать не следовало. Тарас Игнатьевич сосредоточенно слушал эту женщину, постукивая сигаретой по столу и не решаясь закурить в ее присутствии.

Он пообещал, что сделает все необходимое, проводил женщину в приемную и распорядился домой отправить на своей машине. Потом спросил у секретаря.

– Ну, как там Лорд?

В это время открылась дверь и на пороге появился Лордкипанидзе – невысокий, по-девичьи тонкий в талии, подчеркнуто опрятный. Тщедушный на вид, он отличался поразительной работоспособностью и, казалось, хранил в тайне от всех какой-то ему одному известный секрет преодоления умственной и физической усталости. Говорил он быстро, но выразительно, с легким грузинским акцентом. Бунчужного больше всего привлекали в нем быстрота соображения, находчивость и уникальная память. Карьера его на заводе была стремительна. После окончания института он работал сначала мастером, потом помощником начальника судосборочного цеха, затем начальником этого цеха, главным строителем... После этого Тарас Игнатьевич предложил ему должность своего заместителя по производству – наиболее трудный и «нервотрепный» участок.

– Кстати, – сказал Бунчужный и посмотрел на него недобрым взглядом. – Заходи.

– Здравствуйте, Тарас Игнатьевич, – сказал, останавливаясь у стола, Лордкипанидзе. – Принимаем поздравления с наградой?

– Вот я тебя сейчас поздравлю, – сказал Бунчужный, потянулся за сигаретой, прикурил, резким движением погасил спичку и только после этого бросил коротко: – Садись!

– Извините, если выговор, я лучше – стоя.

– Садись, – повторил Бунчужный и, когда инженер опустился в кресло, спросил: – Почему двести шестой на стапеле?

– Этот сухогруз в майский план ведь не входит, а у нас...

– Я ведь приказал!

– Правильно, однако...

– Кто здесь директор? – оборвал его Бунчужный.

– Вы директор.

– Так вот, чтоб двести шестой сегодня же в док-камере был.

– Вы же знаете, как у нас...

– Знаю. Распорядитесь, чтобы закрыли отдел главного конструктора, главного технолога, планово-экономический, наконец. Если не хватит, мобилизуйте часть электронно-вычислительного центра.

– Я полагаю, если месячный план выполнен...

– А мне сейчас нужен сверхплан. Вот как нужен, – черкнул он себя ребром ладони по шее. – Для меня этот кораблик на воде сейчас – козырный туз. Через два дня тут будут министр, представители Верховного Совета, ВЦСПС... Я из них знаешь сколько за этот «сверхплан» выжму?.. Два трехсотквартирных дома дополнительно выжму и пятиэтажный корпус в Отрадном. Я на нее ставку сделал, на эту коробочку, а вы ее перед воротами в док-камере законсервировали.

Лордкипанидзе поднялся. На тонком, очень подвижном лице его отразилась нескрываемая досада.

– Значит, опять аврал, опять сверхурочные, опять инженеров на черную работу...

– Тебя послушать, у нас каждый день – аврал. А когда в последний раз было такое? В прошлом году? Ты знаешь, я сам противник штурмовщины, но сейчас нужно. Понимаешь, нужно, Лорд. Собери людей, объясни. Правду скажи. Поймут. И еще: «Торос» надо принимать... Да, да, у Романова. Вот какое дело, милый ты мой Лордкипанидзе.

Зазвонил телефон. Тарас Игнатьевич снял трубку. Узнал голос первого секретаря обкома. Обрадовался.

– Здравствуй, Яков Михайлович... Спасибо... – Он покосился на Лордкипанидзе и жестом отпустил его. – А я прямо с аэродрома сюда... Все вместе, Яков Михайлович... И «Торос» принимать нужно... Нет, сегодня... Да, незамедлительно... Я уже звонил ему, сейчас будет... Что поделаешь, если все так завязалось узлом... В Отрадное?.. Хорошо, проскочим... Буду у нее в шестнадцать... Спасибо, передам.

4

Валентина Лукинична лежала в отдельной палате, маленькой комнатке с единственным окном на юг. Ее называли по-разному, эту комнату. Сначала изолятором, потом палатой особого назначения. Иногда сюда переводили умирающих. Умирать на виду у всех не положено, вот и переводили сюда под разными предлогами.

Больные были наслышаны о недоброй славе этой палаты и потому на перевод соглашались неохотно, а иногда и вовсе не соглашались. Персоналу – особенно сестрам, да и врачам тоже – нередко приходилось тратить немало сил и времени, чтобы убедить их.

– Там у вас умирают. Я тут останусь. Буду лежать тихонько – стона не услышите. Только не переводите.

Затем, с легкой руки тети Домочки, пожилой санитарки, эту палату стали называть райской.

Однажды Андрей Григорьевич во время обхода распорядился перевести в эту палату немолодую умирающую от белокровия колхозницу.

– Там лучше вам будет, – сказал он, – воздуха много, да и сестры всегда рядом.

Женщина промолчала, но когда обход кончился и тетя Домочка стала собирать ее вещи, запротестовала:

– Не пойду!

– А чего не пойдешь? – спокойно спросила своим певучим голосом тетя Домочка, продолжая как ни в чем не бывало собирать вещи. – Ловкенькая палата, светленькая, чистенькая. Там знаешь как легко дышится?

– Боюсь я туда, – прошептала больная, – там умирают.

– Вот и дура, – беззлобно произнесла тетя Домочка. – Когда твой час пробьет, все равно помирать придется. Вот сегодня привезли одного прямо в морг: попал под машину. Так что же, по-твоему, если на улицах люди под машину попадают, значит, так и сидеть дома? Смерть, она всюду найдет. Значит, на роду написано – умереть под машиной. А у вас на поле разве не умирают?

– Умирают, – вздохнула колхозница. – Свекор мой прошлым летом на поле умер. В мозг излияние от жары.

– Ну вот, я и говорю: когда смерти надо будет забрать тебя, она не поглядит – где застанет, там и возьмет. А та палата у нас особливая, райская, можно сказать, палата. Кому там помереть посчастливится, прямо в рай попадет.

– Почему в рай? – поинтересовалась полная соседка слева.

– А в ней старик один причащался, – продолжала тетя Домочка. – Почуял смерть и наказал, чтоб за батюшкой послали. И старуха его потребовала. И сын. Дело ночью было. Галина Тарасовна как раз дежурила. «Ладно, говорит, пускай кличут». Вот и позвали. Я сама и сбегала. И все время там была, пока батюшка причащал того старика. А после всего он, батюшка, значит, и палату благословил. И это при мне было. Осенил ее крестным знаменем и сказал: «Всем, кому тут помереть доведется, царствие небесное ныне и присно и во веки веков». Вот как. Теперь кто в этой палате помрет, вроде как бы святой: все грехи ему заранее отпущены. Я своим наказала, коли мой час пробьет, только туда. А ты упираешься, хотя до смерти тебе еще годков тридцать, не меньше.

С тех пор стали называть палату «особого назначения» еще и «райской».

К Валентине Лукиничне все относились с подчеркнутым вниманием не только потому, что она была тяжело больной, а еще и потому, что дочь работала ординатором отделения, а муж знатный человек в городе – директор самого крупного судостроительного.

Галина всегда помнила мать крепкой, сильной, на редкость спокойной. А сейчас – жутко смотреть – щеки ввалились, нос заострился, на губах, всегда улыбочивых, появились морщинки, и лишь глаза, хоть стали больше, глубже, казались прежними – спокойными и вдумчивыми, только веселых огоньков в них сейчас не было. На всем ее лице – в складках у рта, в изгибах бровей – застыли боль и страх, что эти и без того нестерпимые муки еще усилятся.

С тех пор как мать положили в эту палату, Галина почти не бывала дома. Все время здесь. Ей казалось, что никто никогда не испытывал таких страданий, как ее мать. Она знала – муки родных и близких всегда кажутся особенно тягостными. Нет, нет, то, что выпало на долю ее матери, было действительно ужасно. Галина с мольбой смотрела на Андрея Григорьевича, но тот лишь беспомощно разводил руками.

– Ничего не поделаешь. Солнечное сплетение. Мы еще смутно себе представляем, как это грандиозно – солнечное сплетение.

Что знала она, Галина, об этом сплетении? На лекциях в институте профессор говорил о нем долго и уважительно – мозг брюшной полости! Но в памяти осталась только путаница нервных волокон и узлов на брюшной аорте и рядом.

В прошлом году в отделении лежал больной с таким заболеванием. Галина первая поставила диагноз. Багрий похвалил ее тогда и посоветовал показать больного консультанту-невропатологу. Тот согласился с диагнозом и тоже похвалил Галину. Она была уверена, что теперь больного переведут в неврологическое. Но консультант предложил понаблюдать еще, поисследовать.

– Эта штука редко болеет сама по себе, – сказал он в ответ на недоуменный взгляд Галины. – Чаще всего она выполняет роль звоняра и начинает бить в набат, оповещая о пожаре где-то по соседству. Вот и поищите. И уж если ничего не найдете... Ну, тогда за дело примутся невропатологи. Только будьте внимательны, чтоб не оскандалиться.

Он оказался прав. Дополнительное обследование обнаружило старые спайки. Их рассекли, и человек выздоровел.

Она прочитала все, что написано о солнечном сплетении, и только сейчас увидела, как мало еще о нем знает медицинская наука.

Она понимала, что у матери в результате тяжелого недуга все пошло кувырком. И боли у нее – ужасные. И рассказать о них она не может, потому что нет в человеческом языке таких слов, чтобы описать их.

– Она всегда тут, – говорила мать о своей боли испуганным шепотом, – будто кипятком плещет кто под самое сердце. Господи, хоть бы конец скорее!

Галина тоже временами ловила себя на той мысли: «И в самом деле, хоть бы скорее конец!» Она спохватывалась, пугалась, а через короткое время снова ловила себя на том же. А сегодня утром, забежав как всегда на несколько минут домой, она не выдержала:

– Я эгоистка. Жестокая, беспощадная, – рыдала она, уткнувшись головой мужу в грудь. – Желать смерти родной матери. Подумать только, желать смерти родной матери!

– Ты устала, – произнес он тихо и участливо, глядя ее волосы. – Тебе надо просто немного отдохнуть.

– Не успокаивай меня. Хотеть, чтобы мать умерла! О таком подумать – гнусно, подло!..

Он усадил ее, покопался в аптечке.

– Вот, выпей две таблетки и поспи. Право, тебе надо поспать. Хотя бы три-четыре часа.

– Нет. Я пойду. – И она стала вытирать слезы ладонью, всхлипывая, как ребенок. – Я пойду. Если что случится в мое отсутствие, я никогда не прощу себе.

– Ладно, иди, – согласился он. – Только умойся и поешь. Ты должна крепко держаться, хотя бы ради нее. Умойся и поешь.

– Хорошо, я сейчас умоюсь и поем, – всхлипывала она. – Ты прав. Я не должна распускаться.

Пока она умывалась, он приготовил завтрак – яичницу с ветчиной, масло, сыр, чашку чаю. Он все мог – и сварить, и постирать, и прибрать в комнатах. Она постепенно отстранила его от всего этого – мужчина должен быть мужчиной, а сейчас... Он говорит, что ему просто не доставляло это забот. Что, когда моешь посуду, хорошо думается. А под звук пылесоса удается даже решить очень сложный сюжетный ход. Он поставил на стол дымящуюся яичницу, положил нож, вилку. Сел напротив.

– Не понимаю, зачем ты терзаешь себя, – сказал он.

– Мне кажется, я что-то упустила.

– Ты делаешь все, что можешь. И все вокруг тоже делают, что могут.

Она вздохнула.

– Ну, пожалуйста, успокойся, – попросил он.

– Я уже успокоилась, – сказала она и опять вздохнула. – Я сейчас поем и пойду. Ты прости, что я совсем тебя забросила.

– Какую, однако, чушь несет человек, когда у него горе, – пожал плечами Сергей.

Прощаясь, она обняла его и опять заплакала.

– Ну вот, снова...

– Это уже от радости, что ты у меня есть, – произнесла она шепотом. – Не представляю даже, что было бы со мной, если бы не ты. Тебе не очень трудно без меня?

– Трудно? Это не то слово. Впрочем, не думай обо мне как о заброшенном. Я солдат. И мне хорошо работается сейчас. Если бы у тебя было время... – он замолк. Она понимала, что он хотел сказать.

Он любил вечерами, когда она возвращалась с работы, слушать в ее чтении свои черновые наброски. Затем он ходил по комнате и говорил, говорил, энергично жестикулируя, рассуждая вслух, как бы споря с самим собой. Она слушала молча. Старалась не перебивать, понимала – ему нужно «выговориться». И при ней это у него получалось особенно хорошо. Она чувствовала, что сейчас, когда приближается срок сдачи рукописи, когда надо особенно много работать, ему не хватает ее.

– Я понимаю, Сергей, моя беда – это в какой-то мере и твоя беда.

– Почему в «какой-то мере»? – спросил он.

– Прости, я не так выразилась.

– Мне хорошо работается, – повторил он. – Вчера был Гриша Таранец. Мы с ним проболтали добрых три часа. Посплетничали немного. Да, знаешь, отрывок из моего романа газета наша печатать не будет.

– Почему? – удивилась Галина. – Ведь главный редактор читал, и ему понравилось.

– Он уехал с делегацией в Болгарию на две недели. Его обязанности исполняет сейчас Романов.

– Вот кому я не доверила бы такую должность даже временно.

– У него большой опыт работы в газете, великолепное чутье наиболее важного. А это, согласись, самое главное для редактора.

– Для редактора самое главное быть человеком.

– Быть человеком – очень трудная профессия, – улыбнулся Сергей. – Впрочем, эту истину хорошо знали еще в древности.

– Ты всегда древнюю мудрость выставляешь, как щит. Я же знаю, что тебя злит все это. Не может не злить.

– Злит, конечно, – спокойно произнес он.

Она почувствовала, что разговор о Романове тяготит мужа, и потому спросила.

– А как у Гриши дела?

– Он почти закончил поэму. Прочел мне два отрывка. Неплохо получается. А третьего дня приходила его Таня. Прочитала мне мои две главы. Она хорошо читает.

- Ну, как у них?
- С ним любой будет нелегко.
- Любить человека – и приносить ему горе... Не понимаю.
- Он это делает помимо своей воли.
- Ты будто оправдываешь его.

– Нет. Но все равно мне хочется помочь ему. И я это делаю в меру сил своих. – Он улыбнулся. – Как видишь, дел у меня невпроворот. И поверь, мне хорошо работается. Сегодня утром, например, я сделал шесть страниц. Это очень много – шесть страниц. Конечно, мне тебя не хватает, но я все же хорошо работаю. Когда у тебя появится время, ты убедишься, как хорошо я работаю сейчас. И не мучай себя попусту. Ведь ты не можешь делать больше, чем делаешь.

Ему показалось, что она опять заплачет. Он снял с вешалки шляпу, сказал, что проводит ее немного. Она обрадовалась.

Дома Галина позволяла себе и посетовать на судьбу, но в больнице держалась крепко. Взяла она себя в руки сразу, как только мать легла к ним в отделение и Андрей Григорьевич заподозрил опухоль. Она решила держаться так, будто ничего опасного нет, будто заболевание хоть и тяжелое, но излечимое.

Да, она держалась крепко. Но вчера, когда мать, обессиленная очередным приступом, сказала каким-то жутким шепотом: «У меня уже нет сил, Галочка... Надо ли, чтобы это продолжалось?» – Галина похолодела.

- О чем ты?
- Это пытка. Надо ли, чтобы она продолжалась?

У Галины мурашки изморозью пошли по телу. Эти слова она уже слышала несколько лет назад, когда студенткой впервые пришла в хирургическую клинику. Там лежал артист Воронин. Он был красив и талантлив. Девчонки не стеснялись своей влюбленности в него. А после операции... Во время перевязок на него было страшно смотреть. Рот, глаза, каждая черточка лица – все кричало о боли, но крика не было, только серебряная трубка в горле хрипела и клокотала. Галине, когда она увидела это, стало дурно. Потом ее долго рвало. И это казалось ужасным: ведь она будет врачом и вдруг... Придя в себя, стала оправдываться:

- Понимаете, девочки, если бы он кричал... Было бы легче. А так...

Ночами его изводила бессонница. Обычные дозы снотворного не помогали. Их увеличили. Потом еще. А через несколько дней Воронин умер. Накопил смертельную дозу снотворного и отравился.

Дежурный врач, докладывая утром на пятиминутке, был убежден, что не миновать разноса. Но профессор тяжело вздохнул.

- Знаю, – сказал он. – Звонили.

Потом Галина слышала, как профессор, шагая по коридору со своим старшим ассистентом, сказал:

– Я бы на его месте поступил так же. Этот Воронин и на сцене и в жизни был настоящим парнем.

И Галина тогда подумала, что профессор прав. Воронину, для которого сцена – все, остаться без голоса... Это была бы не жизнь, а пытка. Сплошная пытка.

Вот и мать – тоже. Галина понимала, что ей ничем уже не помочь. Но внутри все протестовало.

- Господи, как же наша медицина еще беспомощна!
- Вы же умница, Галина, – сказал Багрий. – Вы же знаете, что такое солнечное сплетение.

И что такое опухоль с метастазами, тоже знаете.

- Я все понимаю, все. Но если бы унять эти боли, хотя бы на время.

– Да, это очень худо, когда человек не переносит обычных наркотиков, – сказал Багрий. – Только наркотал.

– А что, если вспрыснуть не три кубика, а четыре?

– Попробуйте, – сказал, подумав, Багрий. – Только, пожалуйста, осторожно.

После инъекции четырех кубиков мать проспала три часа. Потом некоторое время чувствовала себя сносно. Затем снова появились боли, но терпимые. Спустя несколько дней пришлось добавить еще кубик. Вадим Петрович – старший ординатор отделения, молодой, импозантный – прочитал историю болезни Валентины Лукиничны и, увидев дозу наркотала, только присвистнул.

– Однако!..

– Что «однако»? – спросила Галина.

– Ампула наркотала! Это же по сути наркоз.

– Нас учили всегда индивидуализировать дозировки, – ответила Галина. – Если четыре не помогают, надо вспрыскивать пять.

– Это по сути наркоз, – повторил Вадим Петрович предостерегающе.

– Знаю, – сказала Галина.

– Так вот, – начал Шарыгин, по-прежнему не поднимая головы, – я полагаю...

Он опять замолчал. «Удивительно, как он умеет выводить из себя», – уже с раздражением подумала Галина. Зазвонил телефон. Вадим Петрович снял трубку и протянул как обычно:

– Да-а... Приветствую вас, Илья Артемович... Хорошо, я скажу Галине Тарасовне, чтобы она подготовила... Это ее больной... Ну конечно же все будет официально – за подписями старшего ординатора и заведующего отделением... С удовольствием передам... До свидания, Илья Артемович.

Он положил трубку, посмотрел на Галину.

– Будалов кланяется вам. Не знаю почему, но даже от его голоса мне всегда становится не по себе. Терпеть не могу следователей.

– Илья Артемович очень милый человек, прямой и честный, – возразила Галина.

– В вас говорит лечащий врач. Больной – всегда больной. Даже если он следователь по особо опасным преступлениям. Если бы вы не лечили его, он не показался бы вам таким милым.

– Что он просил передать мне?

– Привет.

– А еще?

– Просил подготовить копию истории болезни... – Вадим Петрович назвал фамилию больного, потом, продолжая прерванный разговор, произнес так, словно этого звонка вовсе и не было: – Так вот, я полагаю, что такие дозы наркотала граничат уже с чем-то недозволенным.

В тот же день Галина рассказала об этом разговоре Багрию.

– Все лекарства в какой-то мере яд, – сказал Багрий. – Надо только уметь пользоваться ими, тогда они идут впрок. Вы же знаете, человек привыкает к наркоталу, вот и приходится увеличивать дозу. Ничего не поделаешь.

Галина успокоилась. И все же каждый раз, когда она брала в руки шприц, ей вспоминалось: «Такие дозы граничат уже с чем-то недозволенным».

5

Некогда самостоятельный завод Романова постепенно попал в полную зависимость от Бунчужного. «Торос» получал множество разнообразных деталей, и облицовку клюзов, и крупные секции, выкроенные на его, Бунчужного, электронных автоматах и сваренные в его, Бунчужного, цехах. Даже своего плаза у Романова сейчас не было. Все расчеты по строительству теперь он получал от Бунчужного, который построил уникальный масштабный плаз, первый в стране.

Романов понимал, что современные океанские корабли с очень сложным автоматическим управлением ему поручали строить потому, что рядом был завод Бунчужного. А ведь еще совсем недавно судостроительный Романова считался передовым. Один стапельный цех чего стоил – гигантский крытый эллинг, где сборке корабля не мешали осенние непогоды, зимние выюги, летний зной.

Романов пришел хмурый. Не глянув на секретаря, он рванул на себя двери кабинета Бунчужного, энергичным шагом прошел через всю комнату, сухо поздоровался и, не ожидая приглашения, тяжело опустился в кресло. Поглядел на коллекцию разноцветных телефонов, на зеркально блестящий ПДП и спросил сухо:

– Так что у тебя там за новости, Тарас Игнатьевич?

Бунчужный молча протянул ему письмо министра. Романов стал читать, ничем не выдавая захлестнувшей его обиды. Бунчужному, глядя на него, стало не по себе. Он поднялся, подошел к окну.

Матвея Романова Тарас Игнатьевич знал давно. Вместе восстанавливали судостроительный. Вместе работали на самом трудном участке первого цеха, где происходила раскройка металла. Вместе разрабатывали новый метод электросварки – дешевый, высококачественный, надежный. Их работой заинтересовался научно-исследовательский институт. Метод превзошел все ожидания. Его переняли другие заводы. За короткое время экономия по стране от внедрения в практику этого способа исчислялась уже сотнями тысяч, а потом и миллионами рублей. Зашумели газеты. Бунчужного и Романова представили к награде. А спустя еще некоторое время Тарас Игнатьевич получил Ленинскую премию. После этого прошло несколько дней, и Матвея Романова, по рекомендации Бунчужного, назначили директором соседнего судостроительного.

Представление к Ленинской премии Бунчужного и новое назначение Романова было простым совпадением. Однако родной брат Романова, журналист, сотрудник редакции областной газеты, усмотрел в этом недобрый умысел.

– Ведь он вот какую хиромантию завернул, Матюха! Он взятку тебе дал, – говорил он брату, оживленно жестикулируя. – Оттер плечом от Ленинской премии и, чтобы не скулил, завод – в зубы. Дескать, бери и помни мою доброту.

– Знаешь, что тебе всегда не хватало, Ваня? – сказал с горечью Матвей Семенович. – Здравое смысла и доброты.

– Зато у тебя этого – неспорот. Попомни мое слово, он тебя и оттуда еще турнет.

– Да пойми, нет ему смысла, если он же меня рекомендовал. Никакого смысла нет.

– А он безо всякого смысла турнет. Мешаешь ты ему на этом свете. Сварка эта новая – твоя идея. Ты начал. Ты до конца довел. Тебе честь и слава. Понимаешь, тебе, а не ему. На твоих плечах он к славе добрался, и теперь ты – лишний. Как свидетель обвинения. Умный человек всегда старается от свидетелей обвинения избавиться. А он – умный хохол.

– Спасибо, что хоть это за ним признаешь.

– Что хохол?

– Нет, что умный.

– Так оно, брат, чем враг умнее, тем хуже.

– Ты хоть другим не болтай всего, что сейчас нагородил, – сказал Матвей. – При чем тут Бунчужный? К Ленинской премии представлял институт. Им там надо было отметить своих – тех, что и кандидатские, и докторские сделали на нашем материале. А чтоб лишних разговоров не было, прицепили и Бунчужного. Могли и другого пришвартовать. Меня, например. Или начальника цеха, в котором этот метод внедрялся впервые. А то и бригадира лучшей бригады этого цеха. Не знаешь ты разве, как у нас это иногда делается?

Бунчужный вернулся на свое место. Сидел, курил, глядел на Матвея Семеновича. «До чего же он похож на своего брата. И надо же, чтобы я сначала с тем схлестнулся, теперь с этим».

Романов неторопливо прочитал письмо. Еще раз. Так же неторопливо сложил, затолкал в боковой карман своего легкого, ладно пригнанного по фигуре пиджака и только после этого спросил таким тоном, словно это не министр, а он, Бунчужный, подписал приказ о слиянии заводов:

– А меня куда?

– Оставайся на прежнем месте, – сказал Бунчужный. – Не хочется мне, чтобы такой ответственный участок попал в руки другого. Пока освоится, пока...

– Вот именно – участок, – не дал ему закончить Романов. – Доработался Матвей Семенович до начальника участка. Можно и с повышением поздравить.

Эта язвительная реплика заставила Бунчужного нахмуриться.

– Дело не в названии, Матвей Семенович. Ты знаешь: дело не в названии. Впрочем, если не хочешь – лаборатория электросварки у нас, сам знаешь, одна из лучших в Союзе. Сейчас начинаем освоение гравитационной электросварки по нашему, русскому, методу. А впереди – лазер... С тобой мы все это провернем куда быстрее.

– Провернем, – язвительно усмехнулся Романов. – Я проверну, а ты за это вторую Звезду получишь.

– Да очнись ты, Матвей Семенович. Ведь не я раздаю ордена и присваиваю звания лауреатов. Если бы от меня зависело...

– Мне бы первому присвоил? Знаю эту побасенку.

– Как хочешь, – уже сухо произнес Бунчужный.

Романов не заметил ни этого отчужденного тона, ни подчеркнуто сухой интонации. Ему важно было узнать от Бунчужного все, чтобы не наломать дров сгоряча, не накуролесить. Он взял себя в руки, потянулся за сигаретой, закурил. Помолчал.

– Ну а если я, скажем, не соглашусь и на прежнем месте остаться, и к тебе в лабораторию идти! Кто я теперь для вас? Разжалованный директор. Не понимаешь, как мне обидно?

– Не понимаю, – резко ответил Бунчужный. – Но министр понял. Есть у него для тебя место – в Прибалтике. Директором судостроительного. А только я не советую. – И, отвечая на недоуменно-вопросительный взгляд Романова, продолжал: – Не потянешь.

– Какого же черта ты рекомендовал меня директором «Тороса»? Какого черта, спрашиваю?! – взорвался Романов.

– Маху дал. Не учел, что ты с людьми работать не можешь.

– У тебя учился.

– Не тому учился. Ты ведь с людьми – вот как.

Бунчужный показал крепко стиснутый кулак.

– И этому у тебя учился, – упрямо повторил Романов.

– Конечно, иногда нужно и так, – согласился Бунчужный, разжав и опять крепко стиснув кулак. – Завод не детский садик. Тут иногда нужно как на фронте – не мои слова: Скибу цитирую. Я вот сегодня лучшего сварщика выгнал за то, что вчера выпил больше нормы. Думаешь, он работать не мог?.. Мог. Думаешь, у нас электросварщиков – бери не хочу?.. Нет, не хватает. А выставил я его, чтобы другим неповадно было. Себе в убыток выставил. Конечно, иногда

нужно и так. А вообще-то к людям надо с душой. А ты ко всем с одной меркой. – Он сделал паузу и продолжал своим ровным, чуть приглушенным голосом: – Ты сейчас огорошен. Давай подождем два-три дня, потом поговорим.

Романов коротким движением большой руки воткнул в пепельницу недокуренную и до половины сигарету, крутнул так, что она лопнула, стряхнул приставшие к пальцам крошки табака и спросил:

– Завод когда сдавать?

– Сегодня.

– А повременить, пока я в Москву слетаю?

– Я тянуть не люблю. Это у меня с фронта – приказ есть приказ. И потом, с министром можешь и тут поговорить. Во вторник обещал быть, если ничего не помешает.

– Так, может быть, с передачей до его приезда и подождем?

– Тянуть не буду.

– Торопишься, значит. Боишься, чтобы там не переиграли.

Бунчужный почувствовал, как у него холодеют губы и по затылку забегали мурашки. «Довел-таки, сукин сын!» – подумал он не столько со злостью на Романова, сколько на самого себя.

– Все. Разговор окончен. Через час комиссию пришло.

Романов несколько секунд смотрел на Бунчужного, потом резко поднялся, быстрым шагом направился к выходу. Сильным ударом носка толкнул дверь, вышел, громко хлопнул ею.

Бунчужный досадливо поморщился. Посмотрел на часы. Половина десятого. Удалось ли связаться с больницей?

Он потянулся к трубке, но телефон в это время зазвонил.

– Багрий на проводе, Тарас Игнатьевич, – доложила секретарь.

Бунчужный поздоровался, спросил:

– Как там Валентина моя?

– Сегодня немного лучше.

– Галина говорила. Не нравится она мне.

– Кто? – спросил Багрий, понизив голос.

– Галина. Я сегодня встретил ее. Утром. Не понравилась.

– Устала она очень. Больше ничего.

– Может, отправить ее на два-три дня в Заозерное, к бабушке? Поговорите с ней, Андрей Григорьевич. У меня ничего не выйдет.

– Вы полагаете, у меня выйдет?

– Попробуйте, пожалуйста. Я в четыре буду.

Он положил трубку, несколько секунд сидел задумавшись, потом снова позвонил секретарю. Спросил как обычно:

– Что у нас там?

– Сейчас вам кофе принесут и чего-нибудь поесть.

– Не надо. Закончу прием, приду в буфет. Что у нас там?

– Было трое. По поводу жилья. Я их к Ширину отправила... Волошина пришла. Две минуты просит.

«Волошина – и две минуты», – усмехнулся Бунчужный, а вслух сказал:

– Давайте ее сюда.

Волошина вошла и направилась к столу своей на редкость легкой походкой. Лицо ее было затуманено не то печалью, не то заботой и в то же время освещалось теплой, приветливой улыбкой.

«Она очень пластична, – подумал Бунчужный. – Не только внешне пластична, но и внутренне».

Людмила Владиславовна до того, как стала главным врачом девятой больницы, несколько лет возглавляла заводскую поликлинику здесь, на судостроительном. Она была красива той особой красотой, какой обычно расцветают ладно скроенные женщины в тридцать четыре, тридцать пять лет. Умела держаться с подкупающей простотой и достоинством, что всегда вызывает чувство уважения и симпатию. Начальники цехов охотно выполняли все ее просьбы, нередко расходуя для ремонта поликлиники остродефицитные, предназначенные для отделки кораблей материалы.

Тарас Игнатьевич знал, что она еще студенткой вышла замуж за какого-то доцента, что у нее дочь от этого брака, что вскоре вышла замуж вторично, за Ширина, у которого за год до этого умерла жена. Узнав о свадьбе, Лордкипанидзе не удержался:

– Как?.. В одной упряжке Костя Ширин и эта трепетная лань?..

– Кто лань? – спросил Бунчужный. – Ты бы поостерегался, Лорд. Если она узнает, как ты ее обозвал...

Тарас Игнатьевич посмотрел на ее тонко очерченное лицо, чуть покатые, очень женственные плечи и подумал, что Константин Иннокентьевич не ровня ей и что брак у них, наверно, не из счастливых, но вот живут же. Спокойно, тихо. Иногда их можно было встретить в театре, на пикнике. Всегда вместе. Всегда какие-то умиротворенные, спокойные, очень дружески расположенные. Видимо, сумел же подобрать ключ к ее сердцу Константин Иннокентьевич?

Она любила внедрять в практику своей поликлиники все новое. Проведав об очередной новинке в Москве, Ленинграде или ином городе, она тут же собиралась и ехала, чтобы ознакомиться. Бунчужному нравилась эта ее деловитость. И то, что поликлиника на его заводе считалась самой лучшей в области, тоже нравилось. Людмилу Владиславовну он величал начальником цеха здоровья. Хорошим начальником. Однако против перевода ее главным врачом укрупненной девятой больницы не возражал: нельзя становиться поперек дороги человеку, если он в гору идет.

Легкий туман печали, который придавал красивому лицу Волошиной что-то общее с лицом скорбящей богоматери, не понравился Бунчужному.

«Конечно, кланчить пришла», – подумал он и поднялся навстречу. Она протянула ему свою белую, узкую в кисти, с длинными, тонкими пальцами руку. Он пожал ее, потом указал на кресло и произнес:

– Я весь внимание, Людмила Владиславовна.

«Она безусловно пришла кланчить», – снова подумал Бунчужный, – но прежде она станет интересоваться моим здоровьем».

– Как ваше здоровье, Тарас Игнатьевич?

Она выразила искреннее удовлетворение по поводу хорошего здоровья директора, несмотря на длительную командировку и хлопоты, которых у того полон рот. После этого перешла к Валентине Лукиничне:

– Мы вчера консилиум собирали. Лучшие специалисты...

Она стала перечислять членов консилиума, называя должность и научное звание каждого, но Бунчужный вежливо оборвал ее.

– Знаю, – сказал он. И, отвечая на удивленный взгляд, пояснил: – Я ведь уже с Галиной беседовал и с Андреем Григорьевичем. И что утешительного мало, тоже знаю. Какая нужда у вас? Давайте выкладывайте, пока добрый.

Волошина улыбнулась. Ей нужен линолеум. Желательно голубой. И пластик. Желательно белый. Лучше с бирюзовым отливом...

Зазвонил секретарский телефон.

– Приехал Дэвид Джеггерс, – сообщила секретарь.

– Ах и некстати, – бросил с досадой Бунчужный в микрофон и спросил: – Где он сейчас? В гостинице?.. К десяти? Этот если сказал, будет минута в минуту. Ладно, давайте кофе. – Он положил трубку и обратился к Людмиле Владиславовне: – Да, так что у вас там?

– Пластик, Тарас Игнатьевич. Для отделки панелей. В столовой хирургического корпуса. И еще: очень хотелось бы мне установить микрофоны с усилителем в конференц-зале. Нигде не достать сейчас такой установки, а у вас есть, говорил мне Константин Иннокентьевич.

Бунчужный потянул к себе ее заявление и, не просматривая, наложил резолюцию. Людмила Владиславовна пожалела, что не попросила пластика раза в два больше. А клея – всего тридцать килограммов.

– Я попрошу Константина Иннокентьевича, чтобы он все оформил.

– Я его послал в Отрадное.

– Надолго?

– Завтра вернется. Вы уж извините.

– Полноте, – улыбнулась она, и Бунчужному показалось, что неожиданная командировка мужа не только не опечалила ее, а даже обрадовала. – Я поручу своему завхозу. Вы уж простите, Тарас Игнатьевич, если я по старой памяти и дальше к вашей помощи прибегать буду.

– Я всегда к вашим услугам, Людмила Владиславовна, всегда к вашим услугам.

Ему не терпелось оборвать этот визит. В другое время он охотно поболтал бы с ней, но сейчас... Этот настырный англичанин Дэвид Джеггерс...

Людмила Владиславовна интуитивно почувствовала нетерпение Бунчужного и поднялась. Он проводил ее взглядом. Подумал: «И все же как это ее угораздило за Ширинкина выскочить?»

Принесли кофе. Тарас Игнатьевич потянулся к чашке, пододвинул ближе тарелочку с бутербродом. Теперь он уже не думал ни о ком, только о Джеггерсе. Некстати его принесло. Хотя, с другой стороны... Он посмотрел на часы и принялся за кофе.

6

Распоряжение Бунчужного уволить Каретникова с работы ошеломило сварщика. В душе накопала злость. А тут еще и мастер напустился:

– Идол чертов! Понесло тебя с перепоя директору на глаза. Ты бы еще поручкался с ним. Или целоваться стал. – Он выругался зло, длинно, с выкрутасами. Умел ругаться мастер. – Ну, что торчишь тут? – снова набросился он на Каретникова. – Давай топай в отдел кадров. Все планы из-за тебя кувырком, чтоб ты пропал.

– Идите вы со своими планами и директором знаете куда?.. Ему там, в министерстве, наверно, хвоста накрутили, вот он и сорвал зло на первом встречном.

– Первым-то я был, – спокойно заметил Скиба.

– Тебя он ругать не посмел. И уволить – руки коротки: Герой Труда, член обкома. И вообще цаца. А я?.. Ну, кто я такой?

– Ты лучший сварщик. Корифей, можно сказать. А только дурак: ради подлой сивухи таким авторитетом жертвуешь. Надо было тебе вчера еще набираться. Мало выходных.

– В общем все, – сказал мастер. – Валяй в отдел кадров, Назар Фомич. Прав Скиба: дурак ты, как есть дурак. – И он безнадежно махнул рукой.

– Ну и катитесь вы все к едрене Фене, – вскипел Каретников и ушел, громко стуча каблуками.

В отделе кадров он сначала повздорил с ожидавшими в очереди, потом с начальником отдела. «Завел» его так, что тот, подписывая «бегунок», продырявил бумагу авторучкой.

– Валяй к распронатакой бабушке, – бросил он со злостью. – На заводе без тебя чище воздух будет.

– Ладно, проживу без вас, – бросил ему на прощанье Каретников. – Нужны вы мне, как чиряк на заднице. Собралась тут шайка-лейка, над рабочим классом измывается.

Начальник пригрозил вызвать кого следует.

– Это вы можете! Давай, давай сюда милицию, пожарников, охранников!.. А только мне плевать на твою охрану.

Он вышел, хлопнув дверью с такой силой, что стекла в рамах зазвенели. Кусок штукатурки у притолоки отвалился, упал на пол, рассыпался на мелкие кусочки.

Опрятная женщина средних лет осуждающе покачала головой. Ну, повздорил ты с человеком, а двери при чем?

Каретников глянул на нее уже мутными глазами, обозвал старой дурой и, не слушая протеста окружающих, пошел дальше оформлять «бегунок».

Со всеми формальностями он покончил быстро, сдал пропуск, получил расчет и через короткое время уже шагал на базар, к винному ряду, шелестя в кармане новенькими десятками. Он взял у знакомой торговли кружку вина, потом еще одну. Затем, уже в магазине, купил три бутылки белого крепкого и направился домой, радуясь, что там сейчас никого: мальчонка в саду, дочь в школе, а Саша на работе.

Пристроился он на кухне. Пил не торопясь, почти не закусывал, прислушивался, как хмель начинает кружить голову, и вспоминал. В такие минуты на память всегда приходило одно и то же – допрос в гестапо и полицай: толстомордый, здоровый, седые волосы на голове ежиком, с резиновым жгутом в руках.

Когда пришли немцы, Каретникову только-только исполнилось десять. Отец куда-то исчез. После войны узнали, что он был убит во время схватки с карателями. И о том, что он был не просто рядовым солдатом, а командиром крупного партизанского отряда, тоже узнали. Имя его было занесено на большую бронзовую плиту мраморного обелиска, который возвышался на круче, у самого берега Вербовой, и был виден далеко по реке. На заводе, когда корили за

грубость и пьянство, всегда напоминали о том, что Назар Каретников не просто рабочий, а сын известного партизанского вожака, героя, имя которого не пристало позорить.

Пил он, как правило, только по выходным. Иногда принимался хулиганить, до смерти пугая старшую дочь, тонкую, стройную, как горянка, Женю и крепенького светловолосого Кольку.

– Ты бы к докторам обратился, что ли, – сказал ему как-то Скиба.

– Обращался, – хмуро ответил Каретников. – Они говорят, что это у меня от контузии. Били меня в гестапо. Так били...

Его действительно били. До потери сознания. Жгутом. Сложенным вдвое твердым резиновым жгутом: на одной стороне металлическая цепочка, на другой – крючок.

Бил толстомордый полицай. Допрашивал немец. Спокойный, вежливый, чистенький. Он попросил Назара сказать, кому давал мины, которые подбирал на соседних островах.

Острова были заминированы еще нашими саперами при отступлении. Население Крамольного было предупреждено об этом, и мальчишкам строго-настрого запрещалось забираться туда. Но когда река замерзла, ребята стали переходить по льду и на ближние, и на дальние острова. Мины их не пугали: Володька Очеретюк, пятнадцатилетний паренек, научил, как находить их и как обезвреживать. Назар внимательно смотрел и слушал, потом сразу разобрал и снова собрал мину так ловко, словно всегда только этим и занимался. И в гестапо ему предложили «обезвредить» такую же мину. Он проделал это виртуозно, с каким-то бахвальством, полагая по простоте душевной, что чем лучше он это проделает, тем скорее его отпустят. Полицай даже присвистнул.

– Ах ты, сукин-распронасукин сын! – выругался он беззлобно.

Да, Назарка умел обезвреживать мины. И находить их умел, как никто другой. Когда его спрашивали, как это у него получается, он только недоуменно разводил руками. Он их просто чувствует, эти мины: когда приближается, цепенеет весь.

На этих минах подорвалось много ребят. Двое насмерть, а другие поплатились кто чем – оторванной рукой, вышибленным глазом или изуродованным лицом. Назар же работал без осечки. Он извлекал взрыватель и мины с безопасной уже взрывчаткой отдавал соседям – Витьке и Володьке Очеретюкам. У них было много всякой всячины – толовые шашки, бикфордов шнур, даже немецкий автомат с большим запасом патронов к нему. Зачем все это надо было Очеретюкам, Назар не знал, только потом догадался.

Каретников налил себе еще стакан, отпил половину и потер шершавой ладонью лоб. Воспоминания все больше одолевали его...

В городе было беспокойно. Начались диверсии и на Крамольном острове: кто-то взорвал колонку, которую немцы поставили там, где под воду уходил черный кабель. Потом разнесло машинное отделение на железобетонном плавучем доке. Вскоре после этого пасмурным зимним вечером кто-то из автомата убил немецкого связного, который на мотоцикле перебирался на противоположный берег Вербовой. Сумку с важными бумагами унесли. Тогда-то и начались повальные обыски на Крамольном.

Взяли многих. Назарку Каретникова забрали потому, что нашли у него в сарае несколько разряженных противопехотных мин. Он только накануне подобрал их на Лозовом и не успел отдать Очеретюкам. В гестапо он признался, что не первый раз подбирает мины. Кому отдавал?.. Да кому придется. Выманивал на рогатки, на ломоть хлеба, на кусок творога... Кому именно отдавал?.. Да разве всех упомнишь? Ребят на Крамольном много. Тогда-то и стал его бить толстомордый полицай. Бил страшно, с каким-то остервенением. Бил и приговаривал:

– Очеретюкам давал ведь. Давал им, сукин ты сын! Давал! Так и признавайся, не то забью тебя до смерти, стервеца.

Назар сначала кричал, потом уже орал дурным голосом. Но полицай продолжал бить до тех пор, пока мальчишка не потерял сознание. Так шло три дня подряд. На четвертый немец,

который созерцал порку, остановил полиция, поманил Назара к себе и, глядя в список, стал называть поименно всех мальчишек Крамольного острова одного за другим, спрашивая каждый раз: «Этому давал?» Назар отвечал одно и то же: «Не помню». Когда же немец произнес имя Витьки Очеретюка, Назар на мгновение потупился, потом сказал уже с ожесточением:

– Да говорю же, не помню, не помню я. Не помню!

Немец сделал знак полицаю, и тот снова принялся за дело. На этот раз Назара тоже унесли только после того, как он потерял сознание.

Очнувшись в подвале, среди других мальчишек, он с ужасом обнаружил, что обмарался во время порки.

На следующий день все началось сначала. Полицай стоял чуть в стороне, позванивая цепочкой резинового жгута, а немец допрашивал. Как вчера: называл поочередно имена мальчишек. И снова, когда он произнес имя Витьки Очеретюка, Назар на какое-то мгновение потупился.

– Понятно, – произнес немец и положил список в папку.

Полицай изо всех сил огрел его жгутом.

– Давал же, сучья кровь, – выругался он, – знаю, что давал.

– Не помню, кому давал, – всхлипнул Назар. – Всем давал. Кто платил, тому и давал.

– Ну вот, я же казал, – обратился полицай к немцу. – Очеретюки всем пацанам тут на острове мозги повывручивали.

В тот же день мальчишек выпустили. А еще через день всех жителей Крамольного погнали к большой площади против бывшего горисполкома, где стояли виселицы. Переводчик прочитал перед затихшей толпой приговор. Назару из этого приговора запомнились только имена Володьки и Витьки. Потом их повесили. Володька, прежде чем вышибли у него табурет из-под ног, что-то крикнул, но Назар не разобрал что: он уткнулся головой плачущей матери в подол, весь дрожа от ужаса.

Почти две недели казненные качались на холодном ветру. А еще через неделю полицай встретил Назара, поманил к себе нагайкой.

– Ты на меня зла не держи, Назарка. Я ведь тебя не очень бил. Жгутом, а не вот этой штуковиной. Ты пощупай, – и он протянул конец своей плетеной нагайки Назару. Тот легко нащупал ловко вделанный в кожу кусок свинца. – Если б я тебя этой нагайкой опробовал, ты бы и концы отдал. Молодец, что сознался, кому взрывчатку давал. Иначе пришлось бы тебе этой нагайки отведать, а она не только мясо рвет, она и кости ломает.

– Так не сознавался же я.

– Сознался, – усмехнулся полицай. – Ты и сам не заметил, как выдал. И если кто узнает, что Очеретюков из-за тебя повесили, камень на шею – и в прорубь.

Назар бросился бежать от полица. Он был уверен, что не выдал. И все же в сердце иногда заползало сомнение: может быть, в самом деле как-то незаметно предал. И только последняя встреча с полицаем...

Это было уже в сорок четвертом, когда наши были совсем близко. Население угоняли в Германию. Полицай стоял у моста через небольшую речку, с пистолетом в руке, и командовал переправой. Было очень холодно. Мать к тому времени уже умерла. Сестра, остерегаясь, чтоб Назар не обморозился, натянула на него все, что только могла, – ноги обернула портянками из мешковины, голову замотала старым шерстяным платком. Назар шел прихрамывая, бледный, изможденный. Полицай стоял в добротном овчинном тулупе, барашковой шапке, подпоясанный немецким офицерским ремнем. Тех, кто не в силах был идти, пристреливал. Назар собрал последние силы, чтобы не упасть. Полицай сделал ему знак пистолетом, чтобы подошел ближе. Когда мальчишка приблизился, сказал:

– А я тебя за девочку принял. Что с ногой?

– Нарывает.

– Не дойдешь. Вертайся назад, – приказал полицей. – Ты нам добрую службу сослужил тогда. Вот и вертайся до дому.

Назар ушам своим не поверил, но когда полицей прикрикнул на него и пригрозил пистолетом, пустился бежать. Он бежал из последних сил, с ужасом ожидая, что вот-вот грянет выстрел. Но выстрела не было. Когда оглянулся, переправа была уже далеко позади.

Теперь он уже не сомневался, что именно он, Назарка, предал Очеретюков тогда, на допросе в гестапо.

С тех пор многое изменилось на Крамольном острове. Рыбацкий поселок, в котором когда-то жили Каретниковы и Очеретюки, снесли. И еще два поселка снесли. На их месте поднялся большой судостроительный. Когда завод начал работать, Каретников пошел туда. И Саша Очеретюк – сестра Витьки и Володьки – тоже пошла Разметчицей. В первый цех. К этому времени она осталась совсем одна: сначала мать умерла, потом и дед скончался. Вот тогда-то и пришла Назару мысль жениться на ней. Саша была девушкой тихой, скромной, очень простенькой. Парни на нее не обращали внимания. И Назару она не нравилась, но он решил, что если женится на ней, пожизненно возьмет на себя заботу о сироте, то этим снимет с себя хоть часть вины перед ее покойными братьями, что после этого на душе станет легче. Но легче не становилось. Наоборот, с каждым годом – все тяжелее и тяжелее: никак не мог смириться с тем, что эта женщина постоянно будоражит воспоминания, подымает в памяти то, что пора давно забыть, с чем просто невозможно жить на свете.

Сашины подруги удивлялись: не понимали, зачем она пошла за такого.

– Лучше в старых девах остаться, чем за такого выходить. Неужто любишь?

– Жалко мне его, – отвечала Саша. – Сердце щемит. И хочется, чтобы ему было хорошо, радостно.

– Да ведь злющий он и пьет.

– Нет, он добрый. А что пьет – война виновата. Очень уж били его в гестапо. Спина исполосована так... Столько лет прошло, а смотреть страшно. Он ведь из-за моих братьев пострадал.

...Каретников осушил стакан, снова налил его до полна. Ему вспомнился разговор с писателем Гармашем. Они встретились на лестничной площадке. Это было досадное воспоминание. Каретников возвращался домой. Гармаш с Галиной вышли от доктора Багрия.

– Мне надо бы с вами побеседовать, Назар Фомич, – сказал Гармаш, поздоровавшись. – Меня интересуют события на Крамольном острове во время оккупации. Подробности гибели Очеретюка. Я знаю, что вы были связаны с ними, приносили им взрывчатку, потом вас допрашивали в гестапо.

– Допрашивали, – сказал угрюмо Каретников. – Допрашивали и били. Били и допрашивали. Только на кой ляд вам все это?

– Я сейчас пишу книгу о мальчишке с Крамольного острова, и мне...

– Вот и пишите на здоровье, – резко сказал Каретников и, не прощаясь, ушел к себе.

Гармаш посмотрел на Галину и недоуменно пожал плечами.

– Да он, как всегда, пьян, – сказала Галина.

– Нет, он не пьян. Тут что-то другое, – возразил Гармаш.

– Все равно, Сережа, никакого проку тебе от этого алкоголика не будет.

...Каретников посмотрел в окно на залитую солнцем сочную зелень тополей. Ветер шаловливо трепал их листву, и она серебрилась, ударяя в глаза тысячами искрящихся бликов. Каретников отвел глаза, посмотрел на пустую бутылку и вдруг увидел... толстомордого полицей. В сновидениях он часто являлся! Стоял молча, вертел в руках резиновый жгут. Металлическая цепочка угрожающе позванивала. Назар просыпался, покрытый холодным потом. Но прежде полицей являлся всегда ночью, в сновидениях, а сейчас вот и днем пожаловал. Наяву.

Только странный какой-то: совсем крохотный. Чуть выше стакана и потому, верно, совсем не страшный.

Он смотрел на Каретникова, вертел сложенный вдвое резиновый жгут и насмешливо улыбался. Потом спросил:

– Живешь, Назарка?

– Живу, – ответил вызывающе Назар.

– И жена у тебя, и дети?..

– И жена, и дети. А что?

– Нельзя тебе детей, Назарка. След на земле оставлять нельзя.

Каретников рванулся, чтобы схватить мордастенького, но тот отпрянул на угол стола, повторил:

– Нельзя тебе след на земле оставлять, Назарка.

Каретников запустил в него бутылкой, но промахнулся. Бутылка ударилась о стену, разлетелась вдребезги. Полицай погрозил сложенным вдвое жгутом и сгинул. Словно провалился. Назар Фомич даже под стол посмотрел. Но там ничего не было – только осколки стекла на полу.

7

В детстве Галина больше всего боялась «неотложки». Когда она видела на улице эту всю устремленную вперед молочно-белого цвета машину с красным крестом над ветровым стеклом, ее охватывал страх.

Он выросла, закончила школу, поступила в медицинский, стала работать врачом, но душевный трепет при виде мчащейся по улице машины неотложной помощи не могла преодолеть. С ужасом представляла себе, как эта машина останавливается у ворот их дома, по вызову отца, или матери, или ее, Галины. И вот...

Это случилось ранней весной. Тополя стояли уже в молодой листве. Зазеленели каштаны. И только акации все еще чернели ветками с набухшими на них буровато-зелеными почками.

Отец позвонил перед вечером, попросил приехать, сказал, что матери неможется, и сразу же положил трубку.

Галина всполошилась. «Матери неможется» – звенело и звенело в ушах.

Не попадая в рукава шерстяной кофточки, она схватила плащ и побежала. Метнулась к остановке. Трамвай не было. И такси не видно. Решила, если бегом – быстрее будет. Что там? В голосе отца была тревога. Не в его характере поднимать панику. Что же могло случиться?

Когда неизвестность, в голову лезут всякие страхи. Галина вспоминала научную конференцию, доклад заведующего хирургическим отделением больницы Остапа Филипповича Чумаченко. Он говорил, что большинство тяжелых заболеваний проявляется внезапно. Это как пьеса в нескольких действиях. Только вначале все идет в темноте, а потом уже, иногда в последнем действии, зажигаются огни. «Верно, верно, – со страхом думала она. – У нас, в медицине, трагедии нередко начинаются исподволь... Где-то что-то тлеет незаметно. А потом вдруг – пожар. И тогда помочь очень трудно, а иногда невозможно».

Трамвай догнал ее вблизи следующей остановки. Галина вскочила в вагон, совсем запыхавшись. Какой-то парень пошутил:

– На свидание опаздывает девушка. – Он хотел еще что-то добавить, но посмотрел на Галину и осекся...

Мать лежала в спальне с грелкой на животе. На лице не столько боль, сколько огорчение.

– Я же говорила, не нужно звонить. Я знала, она прибежит ни жива ни мертва. Оно же всегда проходит. Вот и сейчас – тоже прошло.

Галина стала расспрашивать, что это за таинственное «оно». Мать рассказала неохотно, сбивчиво. Галина пошла к отцу в кабинет. Оказывается, все началось еще в феврале. Боли в животе. Приступы какой-то непонятной слабости. Однажды появилось удушье, но скоро прошло. Кто лечит? Участковый терапевт.

– Как ты посмел скрыть от меня?

– Мать запретила, – как бы оправдываясь, произнес Тарас Игнатьевич. – Она и сегодня не велела, но я решил... Думаю, надо бы пообследовать. Может, в больницу?.. Не проглядеть бы чего. Говорил ей и это. Не соглашается. Хотел Андрея Григорьевича пригласить. Запретила. Говорит, если он проведает, и Галина узнает. Вот я и решил... Поговори ты с ней.

Галина вернулась к матери. Стала осматривать ее. И по мере обследования на душе становилось все спокойнее и спокойнее. Сердце хорошее, в легких незначительные хрипы. В худшем случае – бронхит. Непонятно, отчего отец перепугался. Впрочем, он всегда был мнителен, когда дело касалось домочадцев.

Она сказала матери, что ничего серьезного не находит, но все же нужно стационарное обследование, хотя бы для того, чтобы отца успокоить.

– Завтра же на койку, – закончила она решительно. И, тут же поняв неуместность такого тона, присела на краешек постели, положила свою ладонь на руку матери и продолжала уже

спокойно: – Наша больница самая лучшая в городе. И наше отделение тоже самое лучшее. Андрея Григорьевича почти каждый день приглашают на консультации. Даже в областную приглашают. Знаешь, какой он специалист! У нас в отделении, как только непонятно что, Андрея Григорьевича зовут.

Мать согласилась. Улыбнулась даже. На койку так на койку. Зря, что ли, дочка врачом работает, да еще в самой лучшей больнице и в самом лучшем отделении, под руководством самого лучшего доктора.

Галина осталась ночевать. Позвонила Сергею, рассказала все.

– Ты не беспокойся. И, пожалуйста, поесть не забудь. И не смей ночью работать. Ночью спать надо.

Отец не удержался:

– «Поесть не забудь», «Не смей ночью работать». Здоровый мужик, в годах, а с ним как с мальчиком...

Галина пропустила мимо ушей это замечание. Она знала: отцу не по душе, что Сергей намного старше ее, что первая жена оставила его, а Галина, девчонка совсем...

Когда Галина сказала, что выходит замуж за Сергея Гармаша, Тарас Игнатьевич опешил. От нее он мог ожидать чего угодно, только не этого. Он тут же резко отчитал дочь.

Галина смолчала. Она уважала отца, гордилась им. И его довоенной биографией – в ней было много романтического. И фронтовой гордилась – тут было немало по-настоящему героического. И послевоенной – это ведь он вывел свой судостроительный на одно из первых мест в Союзе. А когда завод наградили орденом Ленина, один журналист в центральной газете назвал их завод флагманом отечественного судостроения, а Тараса Бунчужного – капитаном этого флагмана. «Капитан флагмана».

– А что? Это звучит: «капитан флагмана», – сказала она в тот же вечер отцу, но тот лишь потрепал ее волосы.

– У тебя пристрастие к ярким эпитетам и метафорам. Не собираешься ли ты в педагогический или, упаси боже, на факультет журналистики?

– В педагогический? А что, это было бы неплохо. Мама вот работает всю жизнь преподавателем. Факультет журналистики. Это было бы прекрасно, только журналисту, как и писателю, нужен, кроме всего, еще и талант.

Она преклонялась перед писателями. Она считала их людьми особого склада, какими-то волшебниками, которые могут легко создавать своих героев из ничего, распоряжаться судьбами этих людей, заставляя и читателя жить их жизнью, страдать, радоваться, побеждать и умирать вместе с ними. Потом, когда она вышла замуж за Гармаша, она узнала, какой ценой дается литературный образ, сколько требуется для него жизненного опыта и титанического труда. Не было больше никакого волшебства: работа, работа, работа. Но от этого ее преклонение перед писателями и поэтами не уменьшилось, наоборот, стало большим. Ей горько было видеть неприязнь отца к Сергею. И еще она не могла согласиться с тем, что высокое положение «капитана флагмана» создавало привилегии и Галине, его дочери. До девятого класса она ничего не замечала. Потом будто повязка спала с глаз. Произошло это на уроке физики. Она знала материал. Неплохо отвечала. И задачу у доски решила правильно, хотя учителю для этого пришлось помочь ей. А потом вызвали Мишу Богуша. Он, как всегда, отвечал на редкость хорошо. Нет, в этот раз – особенно хорошо, с какой-то увлеченностью и страстью. Преподаватель, скупой на похвалы, не удержался:

– Молодец! – И, обращаясь ко всему классу, добавил: – Вот как надо, друзья! – Наклонился над журналом, вывел отметку. – Пять! Жаль, не существует большего балла.

– И у тебя пятерка, – сказала Галине во время перемены сидевшая на соседней парте русоволосая девушка, большая мастерица по движениям руки преподавателя безошибочно распознавать оценку.

– Не может быть! – вырвалось у Галины.

– Почему не может? – насмешливо спросила девушка. – Ты ведь Бунчужная. Принцесса. Попробовал бы он поставить меньше. Директор его живьем съел бы. С потрошками.

Губы у Галины задервенели. В горле пересохло. Однако она сдержалась, ничего не сказала. А та продолжала:

– Девочки! Она ничего не знает. Она святая, девочки. Она даже представления не имеет, что ее отец, директор судостроительного, шефствует над нашей школой. Она не знает, что и краску для полов, и линолеум для классных досок, даже мебель для учительской раздобыли на этом заводе милостью ее папашки.

– Ты дура, дура! – бросила Галина и, чтобы не расплакаться, убежала.

Она знала, что ее любят в классе. Любят искренне. И не за то, что она дочь Бунчужного, а потому, что простая, может быть немного своевольная и гордая, но в общем очень искренняя девушка, готовая за друзей в огонь и воду... Однако она была уже достаточно взрослой, чтобы не понять правды. Ей и Мише Богушу – одинаковая оценка! Гадко, гнусно!

На следующем уроке физики, когда все уселись и слышно было только, как шелестят страницы классного журнала, Галина поднялась и громко, может быть излишне громко, спросила:

– Какую отметку вы поставили мне в прошлый раз?

Преподаватель, подняв свою круглую, начинающую лысеть голову, удивленно посмотрел на Галину и ответил:

– Пятерка у тебя, Галочка. Не беспокойся, пятерка.

– Это нечестно, – произнесла она и, отвечая на удивленный взгляд педагога, добавила: – Я не заслужила.

– Что же надо было тебе поставить? – спросил физик.

– Не знаю. Знаю только, что пятерку не заслужила. И вы переделаете, – добавила она решительно.

– А если нет? – спросил ее преподаватель, стараясь шуткой скрыть охватившую его неловкость.

– Я пойду к директору.

– Вот как? – произнес преподаватель все в том же насмешливом тоне. – Директор у нас очень милый человек, и мне вовсе не хотелось бы огорчать его. Хорошо, уладим дело полюбовно. Двойка тебя устраивает?

В классе засмеялись. Галина поняла, что ставит себя в смешное положение, но от этого чувство протеста только усилилось.

– Двойки я не заслужила. Я знаю материал, но не на «отлично».

Кто-то позади Галины прошептал громко:

– Вот балда!..

– Если на тройку переправлю, не возражаешь?

– Не возражаю, – уже со злостью, еле сдерживая слезы, ответила Галина и села.

Вечером отец спросил:

– Ты что это преподавателям дерзишь?

– Кому я дерзила?

– С физиком на уроке торговлю завела. К чему это? Или забыла, чья дочь?

– Не забыла. Директора судостроительного, благодетеля нашей школы.

У них тогда вышел серьезный разговор. Отец согласился: она поступила правильно. Она не нуждается в поощрениях. И это хорошо, когда у человека гордость. Но такие вопросы надо решать иначе. Можно ведь было зайти в учительскую и там поговорить. Или после урока, но не при всем классе. А теперь... Вся школа гудит.

– А мне надо было при всем классе, – сказала Галина. – И что по этому поводу болтают в школе, мне плевать. Не хочу никаких поблажек. И хочу, чтобы об этом знали все. Все! И так будет всегда. Всегда!

Отец посмотрел на нее непривычно суровым взглядом и, не промолвив больше ни слова, ушел к себе.

Нет, она любила отца. Любила и уважала. Прислушивалась к его советам. Но чаще поступала самостоятельно, на свой страх и риск.

Тарас Игнатьевич настаивал, чтобы она пошла в кораблестроительный, стала конструктором. Строить корабли – самое почетное дело. Но ей нравилась медицина. И она подала заявление в медицинский. Не прошла по конкурсу. Отец предложил ей работу оператора в информационно-вычислительном центре. Интересно ведь. Но Галина пошла в больницу. Санитаркой.

– Не передумаешь?

– Не передумаю! – ответила Галина. – Ты ведь тоже корабелем стал не после института. Я же знаю: дедушка хотел, чтобы ты врачом стал, а ты на завод – простым слесарем. Даже из дому ушел. Школу бросил. Перебрался в общежитие, хотя у бабушки такой дом. А ведь тебе тогда было всего пятнадцать лет.

– Четырнадцать, – засмеялся Тарас Игнатьевич. – Ладно. Если решила в медицинский, то и впрямь лучше начинать с больницы. И санитаркой.

Она стала работать санитаркой. Нелегко было. Не ахти какая радость больных перестилать да подсовы таскать. Но Галина добросовестно выполняла все. На следующий год поступила-таки.

Тарасу Игнатьевичу нравилась эта самостоятельность Галины. Только вот замужеством ее был недоволен. Он представлял себе зятя совсем другим – молодым, энергичным, неутомимым, как Лордкипанидзе. Он никак не мог отделаться от ощущения, что Сергей Гармаш «охмурил» Галину. Какая-то вертихвостка не захотела жить с ним, а Галина «подхватила».

– Я его люблю, – сказала она. – Неужели ты не понимаешь, что я люблю его. И это – до смерти.

– До чьей смерти? – спросил он, пытаясь иронией скрыть свою досаду.

– До моей. Даже если это произойдет в девяносто лет. И если с ним случится что-нибудь страшное, непоправимое... После него мне никого не нужно.

– Громкие слова.

– Ты никогда не любил, – сказала она страстно. – Пойми ты, он – во мне. Да, человек может войти в другого и раствориться в нем, оставаясь рядом. Он – только хорошее, доброе, самое лучшее из всего, что вокруг. – Она увидела его глаза. Спокойные, чуть насмешливые. И замолкла. Вот сейчас его губы дрогнут в улыбке, умной, ласковой, но снисходительной и потому нестерпимо обидной. – Нет, ты никогда не знал настоящей любви, – голос ее уже зазвенел. – И мне жаль тебя. До слез. До кома в горле.

Насмешливые огоньки в его глазах погасли.

– Это у тебя из книг, – сказал он жестко. – «Растворенный в себе и находящийся рядом... И жалость – до слез, до кома в горле». Ты меня жалеешь, а я, знаешь, о чем думаю?.. Дай бог тебе такую любовь, какая выпала на мою долю.

Она сразу овладела собой, сказала тихо, спокойно:

– Прости меня, – и добавила: – Свадьба через две недели. Надеюсь, ты будешь?

– Совсем взрослая... – с печальной задумчивостью произнес Бунчужный. – Буду, конечно, – сказал он нерешительно, – если... ничего не помешает.

На свадьбу он не пришел – уехал по срочному вызову в Москву. Галина никак не могла отделаться от мысли, что эта «срочная командировка» была придумана.

Формально отношения отца и Сергея были хорошими. Однако Тарас Игнатьевич так и не выбрался к ним в гости. Нет, после того памятного разговора с дочерью Бунчужный ни разу

не обмолвился плохим словом о Сергее. Иногда звонил. Если к телефону подходил Сергей, Тарас Игнатьевич вежливо здоровался, обращаясь к нему на «ты», и просил позвать к телефону Галину. А когда ее не было дома, заканчивал разговор суховатым «извини уж». Встречаясь со своим зятем на улице или на каком-нибудь совещании, Тарас Игнатьевич всегда подходил к Сергею первым, крепко пожимал руку, произносил несколько ничего не значащих слов. Лицо его при этом оставалось деловым, без намека на лицемерную улыбку или родственную привязанность. Чтобы у окружающих создавалось впечатление о добрых, товарищеских отношениях с зятем, вполне достаточно было и этого приветствия, и тех слов, которые он говорил во время рукопожатия... Впрочем, он и к дочери своей, и к жене, да и к другим родственникам никогда не проявлял чрезмерной нежности. Галина давно смирилась с этим. Ничего не поделаешь, отец ее – человек деловой, вечно занят, вечно озабочен. Он мог уехать в командировку на несколько дней бог весть в какую даль, ограничившись коротким звонком кому-нибудь из домочадцев. И в заграничную командировку уезжал без торжественных сборов. Звонил домой, просил собрать чемодан, наспех переодевался и, даже не присев на дорогу, уезжал. Иногда на три-четыре недели. И, возвратившись из такой командировки, переодевался и, поев наспех, уезжал на свой завод. В общем, он хороший. Немного не похожий на других – и только. И его отношение к Сергею тоже связано с этой особенностью. Мама – совсем другое дело. Сергея она приняла сразу будто родного.

Действительно, при малейшей возможности Валентина Лукинична приходила в гости, любила посидеть у них, отдохнуть. Она охотно беседовала с Сергеем о трудностях школьной работы, о программах, которые почти каждый год меняются, о чрезмерной нагрузке, сетовала по поводу того, что в школе больше занимаются обучением и так мало остается времени для воспитания. Сергей любил Валентину Лукиничну за мягкий характер, своеобразную мудрость и еще за то, что она была матерью Галины. Его любовь к Галине распространялась на всех, кто был ей близок. Иногда, поболтав немного, Валентина Лукинична принималась за уборку, беззлобно ворча что-то по адресу дочери, которая и представления не имеет о домашнем хозяйстве, не знает, что такое семейный уют... Галина смеялась. Уют, хозяйство... Какое это хозяйство. Во всех комнатах паркет. Они натирают его раз в месяц. Больше и не нужно. И мебели у них совсем немного. Только самое необходимое. Даже безделушек нет. Сергей терпеть не может безделушек.

Комнаты и в самом деле были просторные, светлые, не загроможденные мебелью. На окнах простые шторы. Но Валентина Лукинична принималась за уборку, наводила свой порядок – тщательно вылизывала каждый уголок и, к удивлению Галины, обнаруживала пыль там, где, казалось, ее быть не могло.

Она никогда не хворала, очень гордилась этим, утверждая, что проживет долго. Бабушке вот уже за семьдесят, а все еще работает в своем колхозе, не уступает молодым. Галина тоже всегда так думала. И потому болезнь матери восприняла с такой тревогой. Но опасного, к счастью, ничего нет.

...Отец, успокоенный Галиной, отправился к себе в кабинет. У него всегда была какая-то неотложная работа. Галина присела возле матери. Она любила поболтать с ней. Валентина Лукинична поинтересовалась, как идет работа у Сергея. Она знала, что он сдал рукопись еще в прошлом году, что его роман получил хороший отзыв, был включен в издательский план. Потом вышла задержка и тянется, тянется.

Галина рассказала, что Сергей взялся за доработку своей книги. Долго не соглашался, потом решил. Много удалось доказать, убедить редактора, но кое с чем пришлось и согласиться. Теперь надо работать. И он работает. Иногда ночи напролет. Рукопись надо сдать в срок.

Потом они ужинали. Галина с отцом выпили по бокалу вина. И мать пригубила. Когда легли спать, у Галины было легко на сердце. А около полуночи...

Сначала Галина испугалась. Потом успокоилась. Да это же приступ бронхиальной астмы. Обыкновенная бронхиальная астма. Вспрыснуть адреналина с атропином – и все как рукой снимет. Она позвонила на станцию «скорой помощи». Отец вышел встретить машину. Врач «неотложки», молодой, со сходящимися над переносицей широкими бровями, одобряюще улыбнулся. Действительно, приступ бронхиальной астмы.

Сестра с подчеркнутой аккуратностью – так всегда бывает, когда больной сам врач или родственник врача – сделала инъекцию.

Прошло несколько секунд. И вдруг Валентина Лукинична закричала. Казалось, вместо лекарства ей впрыснули боль, страшную, невыносимую. Она была всюду – в животе, в спине, в сердце, молотом ударяла в голову...

Галина метнулась к столу, схватила пустые ампулы. То ли лекарство? Все правильно. А между тем...

Врач «неотложки» тоже растерялся. С больной действительно творилось что-то непонятное. Пульс напряжен до предела, скачет под пальцами – не сосчитать. Наложили манжетку аппарата для измерения давления. Ртуть в манометре добралась до трехсот, а в трубке фонендоскопа все стучит и стучит. Сознание то исчезает, то появляется. Отец стоял в сторонке, стараясь не мешать. Он понимал: происходит что-то из ряда вон выходящее. Ни Галина, ни этот взъерошенный сейчас, похожий на мальчишку после взбучки молодой доктор не могут понять, что случилось. И надо что-то делать, не откладывая. При любой аварии на судне он знал, что делать, но тут...

– Позвони Андрею Григорьевичу, – предложил он.

– Конечно, надо позвонить Андрею Григорьевичу, – обрадовалась Галина. – Как же это мне сразу не пришло в голову? – Она позвонила Багрию и рассказала все, стараясь быть краткой и ничего не упустить, не перепутать от волнения.

Багрий несколько секунд молчал. Потом сказал:

– Пришлите за мной машину.

Когда он приехал, у дома стояла еще одна машина «скорой помощи», специализированная. Полная женщина протянула ему кардиограмму. Андрей Григорьевич просмотрел ее, неторопливо пропуская меж пальцев. Подошел к больной. Стал обследовать с той тщательностью, которая уже сама по себе успокаивает и больного, и окружающих.

– Пока можно говорить о ненормальной реакции на лекарство. Если не возражаете, мы заберем ее к себе. Откладывать не стоит. – И, не дожидаясь ответа, бросил санитарам: – Несите в машину.

К утру матери стало легче. Боли прошли. Выровнялась сердечная деятельность. Андрей Григорьевич в первый же день подумал об опухоли в области солнечного сплетения. Потом его предположение подтвердилось на рентгене, и во время операции, и в лаборатории.

От Тараса Игнатьевича истинный диагноз решено было скрыть. Воспалительный процесс. Болезнь серьезная, но для жизни не опасная. Однако лечения требует длительного.

8

Мистер Джеггерс – потомственный аристократ, подтянутый, стройный – сочетал в себе конструктора, корабельных дел мастера и капитана дальнего плавания высшего класса. Суда своей конструкции он испытывал сам, тщательно выискивал недостатки, вносил исправления, снова испытывал, опять находил недостатки, исправлял и начинал сначала. Так продолжалось до тех пор, пока он окончательно не убеждался в добротности новой модели. Только после этого давал согласие на серийное производство. Кораблестроительным заводом Бунчужного он заинтересовался после знаменательной встречи в Суэцком заливе. Лордкипанидзе считал Джеггерса своей находкой. Гармаш как-то записал рассказ жизнерадостного грузина об этой встрече.

– Наше судно с большим грузом взрывчатки в трюмах направлялось в Южную Африку к таинственному Берегу Слоновой Кости. Взрывчатка предназначалась якобы для горнорудных работ. Может быть, и для горнорудных, не знаю. Судно строилось у нас по заказу крупной греческой фирмы. Представитель фирмы назвал судно «Пелопоннес». По договору с фирмой группа наших специалистов должна была в течение определенного времени обеспечивать нормальную эксплуатацию сложного оборудования, обучать ее специалистов. На мою долю выпало обслуживание электронной автоматики. Вообще-то я инженер-корпусник. Электроника в то время была моим «хобби».

Я мечтал о таком плавании. Хотелось повидать мир. С капитаном «Пелопоннеса», очень красивым, общительным, немного заносчивым человеком, я быстро сдружился. Звали его Луи Костанакис. С первых же дней нашего знакомства Луи рассказал мне свою романтическую биографию.

Отец его тоже служил капитаном на торговом корабле, а мать – француженка. Отец умыкнул ее во время стоянки в Марселе. И вот, чтобы восстановить добрые отношения со своими французскими родственниками, первенца решено было назвать в честь отца жены – Луи. До того как стать капитаном «Пелопоннеса», Луи служил на легком крейсере. Потому, нужно думать, в нашем корабле ему больше всего нравилась устремленность его вперед и благородные линии, которые очень походили на обводы легкого крейсера. Электронное оборудование сейчас дает возможность даже в самый непроницаемый туман отчетливо видеть любое препятствие задолго до его приближения и управлять всеми двигателями. Сложная электроника насторожила Костанакиса. Он косился даже на простой автомат, который регулирует натяжение причальных тросов. Когда корабль стоит в океанском порту, на его положение у пирса сказываются погрузки и разгрузки, приливы и отливы... Причалные тросы приходится то подтягивать, то попускать. Когда-то это делали вахтенные матросы. Сейчас – автоматические приспособления.

«Автоматика – это хорошо, – говорил Костанакис, – но если она вдруг откажет... Людей-то у нас из-за этой автоматики раз-два и обчелся».

Но вернемся к рейсу. Капитан очень спешил. Фирма была заинтересована доставить груз вовремя, даже немного раньше срока. Это была солидная фирма. Больше всего боялся Луи задержки при переправе через Суэцкий канал. Надеялся поспеть в Порт-Саид к формированию карavana, однако не успел.

«Теперь жди, пока те, что ушли, доберутся до большой воды. После этого встречный пропустят», – ворчал он.

Но что поделаешь, движение по Суэцкому каналу возможно только в одном направлении, и порядки тут строгие, предусмотренные бог весть когда специальной международной конвенцией. Пришлось ждать. Пришвартовались к бочке. Первыми пришвартовались. Подходили другие корабли. Вскоре их много набралось. Каких только не было там – сухогрузы, танкеры,

пассажирские лайнеры. Даже две спортивные яхты затесались. Чистенькие, стройненькие, как девушки семнадцатой весны у нас в Чиатури. Напротив пришвартовался грузопассажирский «англичанин» примерно одного с нами водоизмещения, «Брэдфорд».

...Вечерело. Меня просто поразили наступающие сумерки. Очень они уж короткими показались. И ночь поразила. Представьте себе: темная, как мазут, вода, на ней – подмаргивающие друг другу бакены, справа и слева – таинственные огни Порт-Саида. И над всем этим – фиолетовое небо. Именно фиолетовое.

...«Англичанин» стоял весь в огнях. На нем гремела музыка. Время от времени доносился приглушенный расстоянием беззаботный смех. Веселятся пассажиры.

«Пришел немного позже нас, – бурчал, глядя на «англичанина», Костанакис, – а уйдет раньше всех. Все раньше нас уйдут. Даже вон та самоходная галоша», – ткнул он трубкой в направлении огромной японской нефтеналивной баржи.

Я сочувственно кивнул головой: «Ничем я тебе, дорогой мой Луи, не помогу: такой тут порядок. Сначала пассажирские пойдут, потом грузовые, а наш «Пелопоннес» со своим грузом – после всех и на соответствующей дистанции».

Так и вышло. Снялись только на другой день. Я стоял у борта, любовался каналом. Незабываемое зрелище. Там, где берега понижаются до одного уровня с водой, – лужа и лужа, а где повышаются – поразительная иллюзия: справа и слева, сколько окинешь взглядом, желтая пустыня. И вот, понимаете, по этой пустыне ползут корабли. Именно ползут. На брюхе. Будто посуху, медленно, медленно. Потом я поднялся на капитанский мостик: один из трех локаторов стал немного капризничать и я решил повозиться с ним. Костанакис был тут же. Он казался спокойным, но я видел, что он все же нервничает. Понимал: медленное движение уже начинает бесить моего капитана.

«Проклятая кишка, – не выдержал и выругался он. – При желании давно могли бы параллельный канал проложить. Загнал в землю взрывчатку, нажал кнопку – и готово. Подровнял края, очистил дно – и пускай воду. – Он позвонил и попросил дать кофе. Положил трубку, обернулся ко мне: – Меня от такой скорости всегда в сон клонит».

Наконец добрались до большой воды. «Англичанин» ушел далеко. Едва заметен у горизонта. Наш Луи прибодрился. «Сейчас мы им покажем», – бросил он радостно и распорядился дать полный ход. Запела наша турбина. «Пелопоннес» обошел сначала несколько «старичков», которым давно уже на слом пора, а они все бороздят и бороздят океаны. Потом яхты остались позади. За короткое время весь караван обогнали. Стали «англичанина» догонять. Нет, «Брэдфорд» был хорош, добротно сделан. И дизель, по всему видно, у него мощный. И груза поменьше, чем у нас. А только с нашим судном и ему не тягаться. Догнали мы его. Стали обходить. Пассажиры там высыпали на палубу, скопились на левом борту, таращатся на диковинный сухогруз. Костанакис внешне оставался спокоен, но я видел, что эту помесь знатного грека и прелестной француженки просто распирает от гордости.

...«Англичанин» был уже далеко позади, когда в рубке раздался телефонный звонок. Звонил Маркони. Так прозвали здесь итальянца-радиста. Он сказал, что «Брэдфорд» приветствует капитана «Пелопоннеса» и просит сказать, где строился его корабль.

– Советский Союз, – бросил в трубку Костанакис.

Через минуту – снова звонок: «Брэдфорд» просит указать верфь.

Костанакис назвал наш город. Через короткое время – снова радиограмма: не будет ли так любезен капитан «Пелопоннеса» указать координаты этой верфи.

«Не могут найти, – усмехнулся Костанакис и обернулся ко мне: – Ничего удивительного: отыскать незнакомый город даже в английской метрополии нелегко, а на ваших просторах...» Он тут же продиктовал своему Маркони координаты, а заодно попросил передать, что на капитанском мостике находится представитель фирмы.

Капитан «Брэдфорда» поинтересовался, кто президент фирмы, которая строила корабль. Луи смотрит на меня, а я растерялся. Кто же у нас, думаю, президент фирмы? Министр? Или, может быть, начальник главка? Нет, не они. Тарас Игнатьевич, вот кто.

Отстукали англичанину фамилию «президента». Пока перестукивались, «Брэдфорд» оказался далеко позади. Маячит уже на противоположном горизонте. В заключение англичанин попросил представителя фирмы, то есть меня, передать привет своему президенту и сказать, что он, Дэвид Джеггерс, будет счастлив при первом же случае лично выразить свое восхищение мистеру Бунчужному, верфи которого спускают на воду такие замечательные суда.

На этом и закончился рассказ Лордкипанидзе. А настырный англичанин таки пожаловал. И в том же году. Осенью. С небольшой группой ведущих инженеров своей фирмы. Они ходили по заводу, расспрашивали, что-то записывали в свои блокноты. Джеггерс интересовался всем: цехами, информационно-вычислительным центром, научными лабораториями. Даже в городке корабелов, который только закладывался тогда на Крамольном острове рядом с заводом, побывал. На прощальном ужине он сказал, что увидел много интересного, и откровенно пожалел, что нельзя было хоть кое-что сфотографировать. Тарас Игнатьевич заметил, что гости могли фотографировать что угодно: завод – коммерческого судостроения, не военный. Джеггерс удивился. Неужели мистер Бунчужный не боится, что иностранцы позаимствуют у него ряд новинок и таким образом потеснят на мировом рынке?

– Новинки по нашим временам быстро стареют, – сказал Тарас Игнатьевич. – Пока вы освоите наши, мы их заменим. Что же касается конкуренции... У нас в портфеле заказов иностранных фирм – на шесть лет вперед. Могло бы и больше быть. Здесь, как говорится, спрос намного превышает предложение.

Он поехал провожать гостей в аэропорт.

– Я обязательно опять приеду к вам, – сказал на прощание Джеггерс.

Тарас Игнатьевич приподнял шляпу:

– Милости просим.

«Теперь он конечно же приехал с фотоаппаратом», – подумал Тарас Игнатьевич, вспоминая тот эпизод на прощальном ужине.

9

Джеггерс предупредил, что в его распоряжении всего семь часов. Его сейчас больше всего интересует обработка корабельной стали, сборка секций и стапелей. Если останется время, он будет рад посмотреть все, что сочтет возможным показать мистер Бунчужный.

Тарас Игнатьевич облегченно вздохнул: его предупреждали, что гость приедет на два-три дня, а тут – всего семь часов. Джеггерс – человек деловой. Если он сказал, что семь, то не задержится ни на минуту.

– Скажи ему, – обратился Бунчужный к переводчику, – что мы будем рады показать все, что он пожелает.

Начали с цеха первичной обработки металла. При первом посещении Джеггерса в этом цехе шла реконструкция, устанавливалась автоматическая линия. Цех производил тогда удручающее впечатление, но Джеггерс относился к той категории инженеров, которые за горами строительного мусора могут ясно представить картину будущего цеха. Сейчас эта линия была закончена и налажена. Такую показать не стыдно.

На заводе при бюро технической информации был штат переводчиков. Но, когда приезжали иностранные гости, Тарас Игнатьевич возлагал обязанности переводчика на Лордкипанидзе. С ним было легко. Он прекрасно владел английским, великолепно знал завод и, что самое главное, обладал врожденной смекалкой, чувством юмора и большим тактом. Что же касается автоматической линии, ради которой, надо полагать, и прилетел сюда Джеггерс, то все оборудование здесь устанавливалось под непосредственным наблюдением Лордкипанидзе.

Лицо Джеггерса было бесстрастно. Лишь изредка на нем появлялось вежливое внимание. Время от времени, не останавливаясь и продолжая слушать, он вынимал свою небольшую с коротким мундштуком трубку, набивал тонко нарезанным табаком и принимался неторопливо пускать синеватые струйки ароматного дыма. Вначале эта трубка произвела на Бунчужного впечатление чего-то нарочитого. Казалось, мистер Джеггерс старался подчеркнуть свое непосредственное отношение к морю, подчеркнуть, что он не только известный инженер-кораблестроитель, но и выдавший виды, насквозь просоленный капитан – старый морской волк. Но понадобилось совсем немного времени, чтобы убедиться в скромности, простоте и поразительной деловитости этого сравнительно молодого еще человека. Он умел смотреть, слушать, схватывать самое главное, правильно оценивать новинки. Был немногословен. Лишь изредка бросал короткие фразы. В прошлый раз, например, он обратил внимание на то, что металлические листы, предназначенные для корабельного корпуса, лежат под открытым небом. Заметил, что американцы избегают держать металл под открытым небом... Он был достаточно деликатен, чтобы не ставить в пример свою фирму. Бунчужный хотел сказать, что, когда немцы сносили у нас бомбежками сотни и тысячи городов, американцы могли спокойно строить самые современные, великолепно оборудованные гигантские склады. Однако ничего не сказал, только заметил, что завод молодой и, в отличие от американцев, мы вынуждены начинать не со складов, а с цехов. Кроме того, металл у нас не задерживается – сразу в дело идет.

Именно поэтому Бунчужный решил на этот раз начать осмотр со складов. В это время там разгружался железнодорожный состав. Джеггерс посмотрел на платформы и заметил, что корабельная сталь перевозится у него в закрытых вагонах.

– Зануда он, – сказал Бунчужный, полуобернувшись к Лордкипанидзе, и добавил: – Этого не переводит. Скажи, что я поражен его памятью, и еще добавь, что осенью, когда сыро, металл у нас доставляется в закрытых вагонах.

Джеггерс вежливо улыбнулся. Они перешли к вальцам. Тут огромные листы протискивались меж катков и выходили уже гладкие. Сразу попадали на рольганг. Собственно говоря, отсюда и начиналась автоматическая линия. Стоя на ребре, металлический лист проползал

сквозь узкую щель в цех и, чуть вздрагивая на роликах, двигался к дробомерной камере. Грохот у этой камеры стоял невероятный. В ней ураган огромной силы обрушивал град чугунных шариков на стальной лист, сбивая с него окалину и приставшую грязь. Лист выходил из камеры уже чистенький. По-прежнему стоя на ребре, он продолжал двигаться уже в камеру окраски. Линия тянулась и тянулась. В конце отсека она изгибалась, поворачивала почти под прямым углом. Листы из вертикального положения переходили в горизонтальное и двигались дальше уже плашмя по длинным блестящим валикам, направляясь в другой отсек, запасник. Здесь, стоя на ребре, ждали своей очереди. Потом, когда линия, ведущая к автоматам, освобождалась, они сами, не торопясь и не толкаясь, начинали двигаться, ложились на валики и направлялись дальше. Джеггерс дымил трубкой и внимательно смотрел...

Они подошли к электронным автоматам. Здесь было сравнительно тихо. Остановились. У автомата стояла в темно-синем халатике, руки в карманах, миловидная девушка. Она была невысока, тонка в талии, грациозна. Глаза – карие, с золотистыми искорками, запоминающиеся. И улыбка тоже запоминающаяся.

Она увидела Бунчужного, людей с ним, кивнула приветливо и сделала шаг в сторону, освобождая проход.

Огромная выходящая на юг стена была сплошь забрана матовыми стеклами. Мерно гудели машины. Погромыхивал конвейер. В самом отдаленном углу пролета кто-то бухал молотом по железу: там шла разборка и сортировка деталей.

Электронный автомат был сравнительно невелик. Выкрашенный шаровой краской, весь какой-то на редкость современный, обтекаемой формы – он производил приятное впечатление. Впереди – небольшое углубление. В нем чертеж-выкройка, по которой машина должна резать лист корабельной стали. По чертежу скользил тонкий луч. Он медленно двигался, освещая темные линии. Лист корабельной стали – рядом. Над ним колдовал пучок яростно гудящего пламени. Его острие входило в металл, как разогретый нож в сливочное масло, и только мириады разноцветных искр, взлетая кверху, говорили, что сталь не масло, что она сопротивляется, но совершенно бессильна тут. Этот огненный нож неторопливо, с какой-то неумолимой аккуратностью, рассекал металл в точном соответствии с чертежом, но в десятикратно увеличенном размере. На худошавом лице Джеггера отразилось любопытство. Бунчужный не сразу понял, что заинтересовало англичанина. Потом разобрался – фотокопир. Тот самый фотокопир, который в свое время предложил Лордкипанидзе. Джеггерс обратился к девушке:

– Сколько времени он работает?

– Кто? – спросила она по-английски.

– Мистер Джеггерс имеет в виду фотокопир, – пришел на выручку Лордкипанидзе и указал на пластинку, по которой неторопливо полз, обводя контрастные линии, световой луч.

– Этот? Уже третий год.

– Разрешите посмотреть? – попросил Джеггерс, обращаясь на этот раз к Бунчужному.

– Покажи, – сказал Тарас Игнатьевич девушке.

Она подошла к шкафчику, вынула оттуда пластинку и протянула гостю.

Тот поблагодарил, внимательно и долго ощупывал металлическую дощечку, на которой под слоем прозрачного лака было несколько соединенных между собой чертежей.

– Три года? – спросил Джеггерс.

Он сначала повертел пластинку и даже постучал согнутым пальцем по обратной, покрытой белой эмалью стороне. Раньше чертежи делались на ватмане. Но такой чертеж можно было использовать не более трех раз. Потом надо было делать новый, потому что машина принималась дурить, резать «по живому». Да и край металла по такому чертежу получался неровным, зубчатым, что мешало при сварке. Лордкипанидзе предложил наклеивать фотокопию чертежа на металлическую пластинку и покрывать лаком.

– Три года? – недоверчиво переспросил Джеггерс. И обратился к Бунчужному: – Патент? – Тот кивнул. – Просто, как и все гениальное, – сказал англичанин и, возвращая пластинку с чертежом, спросил: – Кто эта девушка?

– Оператор. Вечером учится в технологическом институте.

– Вы не возражаете, если я вас сфотографирую, мисс. На память, – сказал Джеггерс. – Пожалуйста, станьте поближе к автомату... Вот так. – Он вскинул фотоаппарат и дважды щелкнул.

Бунчужный обратил внимание на то, что в объектив попадала вся линия электронных автоматов. «Пускай себе, – подумал он. – Мы все равно через два месяца начнем перестройку этой линии. Впрочем, он не из тех, кто копирует, и недостатки этой линии безусловно видит».

Джеггерс поблагодарил, застегнул футляр фотоаппарата, небрежно опустил его и добавил, обращаясь к девушке:

– Желаю вам успеха. Кстати, мне очень понравился ваш английский.

Девушка зарделась. Поблагодарила.

Автоматическая линия обработки корабельной стали была гордостью Бунчужного. Листы металла медленно двигались, останавливались то у одного, то у другого автомата, которые внимательно «читали» чертежи и струей раскаленного газа с поразительной точностью вырезывали из корабельной, похожей на танковую броню, стали тысячи и тысячи мелких и крупных заготовок.

Нет, автоматическая линия такого рода не была новинкой в кораблестроении. Но эта и построена была оригинально, и оснащена лучше, со множеством всякого рода приспособлений, не заметить и не оценить которые Джеггерс не мог...

Гость ненадолго задержался еще у одного автомата, уже с программным устройством. Тут одновременно выкраивались детали для правого и левого борта – по принципу зеркального отражения. Точность обработки на этом автомате была почти идеальной, что значительно облегчало сборку.

– Выгодно? – спросил Джеггерс.

– Весьма, – ответил Бунчужный.

– А вот наши экономисты подсчитали и говорят, что невыгодно.

– Это потому, что вы строите по одному проекту. Переходите на восемь одновременно, как мы, тогда будет выгодно.

– Вполне возможно, – сказал Джеггерс. Чувствовалось, что эта машина с двумя плазменными горелками понравилась ему.

На стапель они пришли, когда стрелка часов подбиралась к двенадцати. Здесь уже знали о приезде Джеггерса.

Василий Платонович сказал своим ребятам, что гости к ним обязательно пожалуют, так чтобы все было по струночке.

– Когда этот фирмач придет, не пялить на него зенки. Работать как ни в чем не бывало. И вообще, как говорится, нуль внимания и фунт презрения. Зрозумило?

– Зрозумило, батьку, – попытался было поддаться под сына Тараса Бульбы Григорий Таранец, но Скиба посмотрел на него так, что у того появилось страстное желание стать человеком-невидимкой.

Джеггерс пришел около двенадцати. До обеденного перерыва оставалось совсем немного. Гостю объяснили, что он сейчас находится в одной из лучших бригад судосборщиков завода. Джеггерс попросил передать привет всей бригаде и ее почетному бригадиру.

– А ну-ка выдай, Лорд, – подмигнул переводчику Бунчужный.

Тот озорно улыбнулся и, выпрямившись, произнес таким тоном, словно перед ними был не простой бригадир-судосборщик, а по меньшей мере король в почетном окружении.

– Мистер Джеггерс, – произнес он подчеркнуто громко, – рад приветствовать лучшую бригаду судосборщиков и ее бригадира, глубокоуважаемого товарища Скибу – Героя Социалистического Труда, кавалера трех орденов и шести медалей.

– Пошел бы ты знаешь куда, сынок, – сказал Скиба.

– Перевести это высокому гостю, Василий Платонович?

– Не треба, – сказал Скиба.

Все было бы отлично, если бы не тот шов, который пытался варить сегодня утром Григорий Таранец. Надо же, чтобы именно он привлек внимание гостя. Джеггерс присел. Правая нога вытянута, левая согнута, напоминая не совсем закрытый перочинный нож. Стал ощупывать шов, сантиметр за сантиметром... Скиба стоял неподалеку и, широко расставив свои крепкие ноги, произнес почти дружелюбно:

– Выбирала дивка – та выбрала дидька. – И добавил беззлобно: – А щоб ты був сказывся!

Джеггерс продолжал ощупывать корявый шов. Скиба наконец не выдержал и матюкнулся. Бунчужный резанул его взглядом. Тем временем Джеггерс переключился на другой шов – добротный. Нежно провел по нему пальцем, поднялся, что-то записал в свой блокнот и обратился к Бунчужному с виноватой улыбкой.

Лордкипанидзе тут же перевел:

– Мистер Джеггерс говорит, что свою карьеру в кораблестроении начинал с электро-сварки и до сих пор не может пройти мимо недостаточно аккуратного или, наоборот, очень хорошего шва. Он говорит, что этот второй шов варил большой мастер, художник, артист.

– Кто варил? – спросил Бунчужный, указав на понравившийся англичанину шов.

– Каретников Назар Фомич, – не то с укором, не то с обидой в голосе ответил Скиба.

Тарас Игнатьевич нахмурился, но тут же согнал со своего лица выражение досады и произнес негромко:

– Про того, кто этот корявый шов варил, не спрашиваю. Сам узнай и поговори с портачом. Если я поговорю, плохо будет.

– Новичок варил.

– Ты это кому другому скажи, Василий Платонович.

Джеггерс задал еще несколько вопросов и ушел, заявив на прощанье, что очень доволен знакомством со знаменитой бригадой.

Во время обеденного перерыва Гриша предложил бригадиру:

– Пошли на реку, дядя Вася, искупаемся, посидим у воды. До начала работы минут сорок.

Скиба несколько секунд помолчал, глядя на Таранца, потом вздохнул:

– Ладно, пойдем, студент.

Пробираясь по мостикам мимо громоздящихся на тележках законченных и только начатых кораблей, они направились к блестящей неподалеку Вербовой.

10

Небольшая отмель между двумя причалами. Белый песок звонко хрустит под ногами. Голубоватые волны Вербовой игриво набегают на берег и откатываются, оставляя влажный след.

Григорий задумчиво набирал полную пригоршню песка и пропускал его между пальцами.

О том, что он рано или поздно попадет в бригаду Скибы, Таранец знал. Только не знал, что так быстро подружится он, студент вечернего литфака, и знатный бригадир судосборщиков стапельного цеха. Скибу восхищало мастерство Таранца. Он гордился, когда слышал по радио или читал в газете его стихи, словно это не Григорий Таранец, а он, Василий Скиба, сочинил их. А когда Гриша подарил бригадиру свой первый сборник с автографом, тот расчувствовался до слез. Впрочем, они всегда удивлялись друг другу. Григорий не мог понять, как это бригадиру удастся организовывать работу бригады так, что день был всегда заполнен под самую завязку, как говорил мастер. А Скиба не мог постичь, как удастся Григорию из простых, на первый взгляд, обыденных слов составить песню, да еще такую, что и в клубе самодетельный хор поет, по радио исполняют и по телевидению.

Да, Скиба любил Таранца. Хотя в характере этого молодого человека много было непонятного ему.

– Что-то у этого парня не так, как у всех, – вырывалось порой у бригадира. – Чем-то он мне норовистого жеребца напоминает... И телом хорош, и в работе вынослив, а вдруг задурит невесть отчего – и нету с ним никакого сладу: то понесет очертя голову, то выбрыкивать начнет. То вдруг так шарахнется в сторону, что оглобли – в щепки.

Григорий мог работать. С огоньком. И хватка у этого парня ко всему в судосборке была его, скибовская. Приглянется к чему-нибудь новому, потом возьмется – и горит работа под руками. Нравилось это Скибе. А вот что мог ни с того ни с сего задурить, мастеру нахамить, деньгами пылить на купеческий манер, не нравилось. Рабочий человек должен всегда в себе самостоятельность иметь. А у Григория – все под настроение. Хорошее настроение – ладится. Чуть испортилось – и прет из него дурь. Такая дурь, что иногда в морду съездить хочется. А больше всего не нравилось Василию Платоновичу, что студент, как он величал Таранца, к рюмке любил прикладываться. Рабочий человек во всем должен меру знать. Бывает, что и выпить не грех, а только и тут надо себя «шануваты», нет ничего легче, как из-за этой выпивки свою честь унижить.

Особенно пренебрежительно относился Григорий к гонорарам, которые получал за свои стихи. Сорил он этими деньгами так, что Скибу зло брало. Не за то, что тратит, а за то, как тратит. За ухарство. Безотчетную удадь и такую нетипичную для рабочего человека лихость.

– Дурные это деньги, Василий Платонович, – оправдывался Таранец, когда Скиба начал выговаривать. – Если б сказали: заплати, Гриша, чтоб твои стихи напечатали, ей-богу, заплатил бы. А тут мало того что напечатали, так денег еще отвалили вон сколько. Счет у них там на строчки идет. А они ведь разные – строчки эти. Над иной и день, и два бьешься так, что голова трещит. Такая строчка дорого стоит... Но ведь бывает, что найдет вдруг на тебя, и ты за полчаса тридцать, а то и сорок строчек отгрохаешь. А за них по той же цене платят, как и за ту, одну-единственную, над которой ты два дня до одури в голове бился... Они там не учитывают, какая строчка с меня семь потов согнала, а какая играючи, сама собой выскочила. Вот и выходит – дурные это деньги. Ну и отношение к ним соответствующее.

Однажды Василий Платонович пригласил Таранца в гости, на день рождения своего младшенького, которому четыре стукнуло. Не только его пригласил. Всю бригаду. Пришли. Приоделись и подарки прихватили – кто какой. А Григорий приплелся в будничном – синие

легкие брюки, рубашка штапельная в крупную клетку с короткими рукавами. Жарко ведь, чего же выражаться. И подарок приволок – ни на что не похоже: двухколесный никелированный велосипед, на который имениннику дай боже взгромоздиться через годика три-четыре. И конфет – целый куль. Сколько сортов было в магазине, столько и взял. Вывернул их на стол горой. Скиба взял одну, развернул, откусил и только плечами пожал. Сказаться можно. Семь с половиной килограммов! Вот шалопутный!

– Я вчера гонорар получил, Василий Платонович, – рассмеялся Таранец. – За журнальную подборку... Двести двадцать рублей отвалили. Что же ты мне прикажешь, дядя Вася, с этими деньгами делать? Костюм купить шик-модерн или ребят коньяком так накачать, чтобы всем скопом – и я в том числе – в вытрезвитель попали? Вот я и решил велосипед твоему пацану купить...

– Если достались по закону, не ворованные, к ним надо с уважением. Это краденые можно, как ты говоришь, не жалеючи, а те, которые по ведомости получены... Нет, нема у тебя, Гриць, настоящего уважения к деньгам. Ну лишние они тебе сегодня, так завтра могут понадобиться. Положил бы на сберкнижку. Конечно, бога себе из денег делать не надо, однако и швырять, как ты их швыряешь, тоже не пристало. Ты ведь рабочий человек, Гриць.

– Не разберу я, кто такой сейчас, – усмехнулся Григорий. – Родился и вырос на селе. Крестьянин, выходит. Работаю на заводе – рабочий будто. В институте учусь, пишу стихи, недавно вот в Союз писателей рекомендовали. Значит, интеллигент.

– Рабочий ты, – убежденно сказал Скиба. – Когда у человека выбор есть, он всегда самое почетное выбирает. На рабочем человеке земля держится. Он всех ценностей созидатель.

Григорий усмехнулся:

– Здорово ты говоришь, Василий Платонович. Прямо как по книжке шпаришь.

Скиба нахмурился:

– Как могу, так и говорю... Ты уж извини, если у меня одно к одному не так подгоняется. Одни по-простому говорят, другие, как ты, например, – корифеи словесного дела. А только в слове самое главное, чтоб оно понятно было. Я ведь понятно говорю?

– Понятно, Василий Платонович. Куда уж понятнее.

– То-то же.

«Нет, с вывихом этот парень все же, – думал иногда Скиба. – Никогда не знаешь, что он отчебучит. Вот вздумал жениться. Взял намного старше себя и какую-то непутевую». Когда Скиба узнал, что Григорий у нее третий, отказался на свадьбу прийти.

– Ты уж извини, а только не лежит у меня душа к твоей будущей подруге жизни. Не лежит – и все тут. И против я этой женитьбы. Понимаешь, против.

– Почему, Василий Платонович? – удивился Таранец. – Женщина она видная из себя, красивая, культурная... А что актрисой работает...

– Да не работа ее не нравится мне, а сама она. И сдуру ты это надумал... Жениться на ней. Бросил бы, пока не поздно. Она же из тебя кудель сделает и будет ниточки вить. Давай откажись, пока не поздно.

Таранец вздохнул.

– Не могу, Василий Платонович, – произнес он с какой-то тихой грустью. – Во-первых, я слово дал, а во-вторых, – это вам только, как родному отцу, – ребенок у нее будет.

– Вот оно что, – протянул Скиба. – Тогда, конечно... А только скажу я тебе все равно: противно, когда битая бабенка молодого парня таким вот манером в загс тянет. В общем, не стану хаять ее, невеста она тебе и, по всему видать, женой станет. Хоть не время, а станет. Но я так думаю, что лучше бы тебе на ком-нибудь из наших заводских девчат жениться. Вон какие пригожие у нас работают. Нет, на вечерку вашу я не пойду. Извини уж. Хитростью она тебя берет. Коварством. И боюсь, если я малость выпью, скажу об этом при всем народе. Нехорошо

получится. Лучше дома посидеть мне, пока вы там будете коньяки хлестать и кричать «горько». У меня что на уме, то на языке. И не обижайся.

Григорий сказал, что не обижается, хотя и было ему очень обидно.

А потом вышло все, как Скиба предсказывал.

...»Черт меня дернул сегодня за держак взяться, – думал Григорий. – И шва того меньше метра сварил. И место неброское. А этот англичанин увидел».

Скиба разулся, выкопал в песке небольшую ямку, подождал, пока она заполнится теплой водой, и опустил в нее ноги. Посмотрел на Таранца.

– О чем задумался, Гриць?

– О ничтожестве всего сущего на земле, – помолчав немного, замогильным голосом произнес Григорий.

– Язык у тебя сегодня какой-то поповский.

– Ничего ты, дядя Вася, не понимаешь, – произнес Таранец, продолжая просеивать песок между пальцами. – Работаешь, можно сказать, без передышки и смену, и полторы. А для чего, собственно говоря?

– Как это «для чего»? – даже брови сдвинул бригадир. – Мы корабли строим. Понимаешь, корабли.

– Эка важность – корабли, – все в том же тоне продолжал Григорий. – Сколотил несколько бревен, прицепил сзади какой-нибудь захудалый мотор с винтом на хвостовине – вот тебе и корабель... Ну, скажем, у нас вместо бревен – железная коробка высотой с десятиэтажный дом, вместо моторчика – газовая турбина в тысяч сто лошадинок. В принципе – одно и то же. Ты на свой корабль с философской точки зрения посмотри, дядя Вася.

– А с философской точки зрения – это контейнеровоз с четырьмя мощными кранами на борту, автономный – хоть посреди океана разгружайся. Контейнеровоз, брат. Лайнер. Громадина. И по оснастке своей и удобствам для команды равного себе в мире не имеет. Вот что такое наш корабль с философской точки зрения.

– Ну а если его рядом с луной поставить – песчинка.

– Если с луной, то конечно, – согласился Скиба, – а только ведь и песчинка – любопытная штука. Помню, в школе еще, взял я такую песчинку да и ткнул под микроскоп. Глянул – и ахнул. Скала. На ладонь положишь – ничего, а под микроскопом – громадина.

– Вот видишь, – произнес Григорий, – оказывается, и ты задумываешься.

– Человек должен задумываться. На то он и человек. А только главное – что его мысли бережит. Вот ты, к примеру, сейчас о чем думаешь?

– О бесконечности думаю.

– Простая вещь эта твоя бесконечность, – махнул рукой Скиба. – И задумываться над ней нема чего. Написал ты, к примеру, какое-нибудь число. Пускай даже очень большое. А я возьму да и припишу к нему единичку. Ты другое напишешь, еще длиннее. А я и к нему – единичку. Так и будем сидеть, пока до пенсии не досидимся.

– Мне до пенсии еще далеко, дядя Вася, – сказал, улыбаясь, Григорий.

– Хоть и сто лет. Хоть двести. Все равно я тебя этой своей пустяшной единичкой доконаю. Это и есть бесконечность. Просто, как та кувалда, которой мы клинья загоняем, чтобы надстройку к месту подогнать. Над серьезным стоит задуматься, а так, от нечего делать, мыслями в голове перекидываться – баловство. Бесконечность я себе, Гриша, очень даже ясно представляю, а вот в практической жизни у меня для всего свое начало есть и свой конец. Вот, к примеру, заложили мы этот лайнер. Придет день – и сдадим его. В срок сдадим. А вернее – хоть немножко, а раньше срока. Это у нас в крови заложено, чтоб, значит, хоть немного, а раньше срока дело кончать. Крепкий корабль будет. Корабли нашей марки – все до одного – очень крепкие, потому что все ему первоклассное дается, начиная от стали для корпуса, кон-

чая отделкой. Однако придет время, и состарится корабль. И порежут его на лом. А с этого металла, может, уже другой, космический построят. И тому тоже будет и начало, и конец...

– Смотрю я на тебя, Василий Платонович, и только диву даюсь. Образования у тебя – всего шесть классов.

– Семь, – поправил его Скиба, – семь с грамотой. С похвальной.

– Ладно, семь, и с похвальной грамотой. И все же удивляюсь я тебе, дядя Вася: все тебе ясно и понятно. Техническая революция тебе тоже понятна?

– А что – «техническая революция»? Человек с техникой всегда дружил. Он ее вперед подгонял, а она его вытягивала то из одной беды, то из другой. Когда человек первый раз дубиной зверя прикончил – вот тебе и техническая революция. Человек должен был тому зверю на обед достаться. А вышло наоборот. А почему... Потому что – дубина. Дубина – тоже техника. А когда первый раз огонь разожгли, колесо придумали, лук сообразили и стрелу к нему с наконечником приладили... Все это, брат, техническая революция. Только газет тогда не было, писать не умели и трескучими словами друг дружку не тешили. Если хочешь, и паровоз, лампочка электрическая, телефон, репродуктор – тоже техническая революция. А потом уже и кибернетика, и прочие чудеса.

– И все же кибернетика – это удивительно, дядя Вася.

– Конечно, удивительно, – согласился с ним Скиба. – Вот тезка мой, Василий Прохорович, всю жизнь на плазе проработал. Ох и напознался же он по этому плазу. По всем законам должны бы у него на коленках копыта вырасти. И до самой пенсии работал без ошибочки. Иной раз, чтоб только одну секцию рассчитать, неделю ползать приходилось. Тысячи цифр в тетрадку записать. А вчера мне мастер первого цеха сказывал, что наш информационно-вычислительный центр научился эту работу делать. Заложат в машину ленту с дырками, нажмут кнопку. Она, эта машина, поморгает, поморгает, побормочет чего-то несколько секунд и выплюнет все цифры. Те цифры, из-за которых тезка мой всю жизнь на коленях по плазу проползал. Или вот, помню, время было, когда корабли не сваривали, а клепали. Горы заклепок вгоняли в корпус. Теперь варим вот, из отдельных секций. Пройдет время – и станем из крупных блоков складывать. Шесть блоков – и корабль. Садись и плыви хоть на край света. Все это очень просто, Гриша. Умнее человек становится, все больше технику постигает. Прежде с покраской сколько работы было? Бог ты мой, до чего же нудная работенка была. И дорого стоило, и почти каждый год надо эту краску освежать. А теперь где она – та краска. Везде пластик. По полу пластик, на потолке пластик. На стенах тоже пластик. Двери – и те пластиком обклеены. Приволокли ее из цеха, дверь эту, нацепили, обтерли тряпочкой, и блестит она, как зеркало. Техника, Гриць. Техника и наука.

Григорий посмотрел на бригадира с добродушной улыбкой. Ему все же очень хотелось сбить его, столкнуть в кювет с ровной дороги.

– А про Галактику слышал?

– Позавчера по телевизору лекция была. Интересно.

– А представить можешь?

– Большая. Много звезд. Светят по ночам.

– Ладно. А про квазары слышал?

– Чего не знаю, того не знаю. Это что же за зверь?

– Квази – звезда.

– Звезда – понятно, а квази?... Что такое?

– Квази – это что-то вроде чего-то. В общем, похоже, а не то.

– Понятно.

– Да никому это не понятно, дядя Вася. Это такая махина, представить невозможно. Там все на миллиарды меряется. Объем – миллиарды кубических километров. Вес... Там царство тяжести. От этой тяжести он, квазар, сам по себе проваливается, как в прорву.

- Скажи пожалуйста!
- Песчинка с маковое зернышко миллиард миллиардов тонн весит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.